

Валерий
Михайлов

ИВОЛГА, ЛЕСА ОТШЕЛЬНИЦА

(книга о Николае Заболоцком)

Глава тринадцатая

СВЕТ НАСТОЯЩЕГО И ТЕНЬ БУДУЩЕГО

ЗОЛОТОЕ УТРО

...Но вернёмся в 1930 год, в июль.

Поэма «Торжество земледелия» закончена, пишется другая. Молодая семья Заболоцких впервые в Крыму, поехали на море отдохнуть. Впрочем, какой там отдых: поэт этому совсем не обучен, да и не желает учиться. Ему в жизни как-то всё время не до отдыха было... Николай даже гулять не любит, что без толку слоняться?.. «На третий день крымской жизни, лёжа на пляже, он сильно обжёг спину и был доволен, что теперь с полным основанием может оставаться дома и в своём любимом положении – лёжа на животе – читать и писать стихи, – пишет Н. Н. Заболоцкий. – Вероятно, в те дни было написано стихотворение “Человек в воде”, заканчивающееся строчками:

А на жареной спине,
над безумцем хохоча,
инфузории одне
ели кожу лихача».

Не свой ли портрет на пляже Заболоцкий невзначай набросал в этом стихотворении?

Словно череп без волос.
как червяк подземный бел,
человек, расправив хвост,
перед волнами сидел.
Разворачивая ладони
словно белые блины,
он качался на попоне
всем хребтом своей спины.

Эдакое нелепое отдыхающее существо явно земноводного происхождения!..

Продолжение. Начало в № 10, 11, 2017 г.



Но какими оно занято мыслями?.. Впрочем, что за думки могут вообще появиться в голове под гнётом солнца, когда «каждый маленький сустав / <...> распарен и раздут»? Разве что такие же распаренные и раздутые, наивные, вроде бы пытающиеся то ли шутить, то ли что-то понять, как в стихотворении «Вопросы к морю»:

Хочу у моря я спросить,
 для чего оно кипит?
 Пук травы зачем висит,
 между волн его сокрыт?
 Это множество воды
 очень дух смущает мой.
 Лучше б выросли сады
 там, где слышен моря вой.
 Лучше б тут стояли хаты
 и полезные растенья,
 звери бегали рогаты
 для крестьян увеселенья.
 Лучше бы руду копать
 там, где моря видим гладь,
 сани делать, башни строить,
 волка пулей беспокоить,
 разводить медикаменты,
 кукурузу молотить,
 деве розовые ленты
 в виде опыта дарить.
 В хороводе бы скакать,
 змея под вечер пускать
 и дневные впечатленья
 в свою книжечку писать.

Да, видать, совсем разморило на солнце! Или автор ещё не отошёл от своего земледелия?..

Лишь чуть спустя, очухавшись, он вспомнил сочинения Платона и написал нечто в духе *столбцов*:

<...> Море! Море! Морда горба!
 Вечной гибели закон!
 где легла твоя утроба,
 умер город Посейдон.
 Чуден вид его и страшен:
 рыбой съедены до пят,
 из больших окошек башен
 люди длинные глядят.
 человек, носим волною,
 едет книзу головою.
 осьминог сосёт ребёнка,
 только влас висит коронка;
 рыба пухлая, как мох,
 вокруг колонны ловит блох.

И над круглыми домами,
над фигурами из бронзы,
над могилами науки,
пирамидами владыки –
только море, только сон,
только неба синий стон.

(«Подводный город», 1930. Орфография сохранена)

Однажды Заболоцкие отправились из Феодосии в Коктебель к Максимилиану Волошину, стихи которого, как пишет сын, Николай Алексеевич знал и уважал. «Максимилиан Александрович вышел к посетителям в белых широких штанах с манжетами у колен и длинной белой рубахе навыпуск. Золотой обруч придерживал его длинные седые волосы. Он был красив и приветлив, гостей пригласил пройти в дом и после непродолжительного разговора позвал свою жену Марию Степановну, чтобы и она приняла участие в разговоре. В конце встречи оба поэта прочитали по одному из своих стихотворений (Волошин – о Богородице)».

Николай уже сильно привязан к жене, без неё ему скучно. Летом следующего года, когда его вновь призвали в армию, он часто пишет Кате из Пскова бодрые *домашние* письма, в которых слышна теплота и нежность.

«...Сидя на берегу реки Великой, вспоминаю тебя, мой дурачок».

«Здравствуй, маленький дурачок!»

Уже восемь дней, как я в лагерях, рожа стала красная от солнца, шкура с носа слезла, каждый день купаюсь, ем за десятерых, бегаю какать за полверсты на рысях, а ночью в палатке свободно вешаем на воздух топор и другие довольно тяжёлые вещи. Одним словом, жизнь идёт вовсю, и я мало-помалу превращаюсь в настоящего взводного. <...>

Взял общественную нагрузку по специальности – выпускаю ротную газету – «Ильичёвку». Сегодня выпустил уже первый номер, красноармейцам очень нравится, я туда написал раёшник. <...>

Сегодня получил первое письмо от тебя <...> от 14 июля. Рад, что благополучно с Фомкой, ты кушай как следует и не думай ни о чём».

Фомкой они зовут между собой будущего сына (и действительно – потом родился мальчик).

«9 августа 1931

Маленький мой, не писал тебе это время, потому что всё время прошло в походах. Было три довольно больших похода, ходили, ходили, не спали ночей, несколько раз переходили вброд реки. Были очень тяжёлые минуты. Измучаешься до того, что на остановке ткнёшься под куст и спишь как мёртвый.

Теперь всё прошло, вчера вернулись из последнего похода под проливным дождём. Но, удивительное дело, – здоровье хорошее, только ноги болят, все мускулы ноют от бедра до пят...

Очень беспокоюсь за тебя – долго не было писем. <...>».

Закалка пригодилась: не на войне – в лагерях. Без этого вряд ли бы выдержал испытания...

Жена зовёт мужа в письмах – «милый Колюня», рвётся к нему, да командиры не разрешают: негде останавливаться. Сообщает, что на даче замечательно. «Обед стряпать не надо, ягоды ем с утра до вечера. Земляника. Скоро будет малина, чёрная и красная смородина. Завтра буду варить варенье из земляники, чтобы ты, мой маленький, тоже попробовал сиверской земляники. <...> Наш самый маленький дурачок живёт хорошо, растёт, очевидно».

25 января 1932 года родился первенец, только назвали его не Фомой, а Никитой.

Жили они по-прежнему в съёмной комнате, куда Заболоцкого вообще-то пустили как *холостого*. «Но Вера Михайловна, хозяйка квартиры, и её домоправительница Христина так привязались к Заболоцким, что в первые месяцы увезти мальчика не разрешили, – пишет в биографии отца Н. Н. Заболоцкий. – Добрая старая эстонка Христина каждый день заходила в комнату, чтобы вытереть пол, останавливалась у кровати, опираясь о щётку, любовалась здоровым младенцем и произносила всегда одну и ту же фразу:

– Он смотрит и думает, что за чучела пришёл».

Николай перешёл из «Чижа» в Союзфото (эту организацию возглавлял В. П. Матвеев) в попытке заработать на кооперативную квартиру. Катя с ребёнком всё чаще жила на даче дяди на Сиверской – благо, усадьба была хорошо устроена, только в морозы дом промерзал и даже на одну комнату, где топили печь, уходило слишком много дров. Ей помогала по хозяйству домработница Ириша, приехавшая, чтобы не пропасть, из голодающей и разорённой псковской деревни в Питер. Вероятно, она рассказывала Николаю и жене, что же на самом деле происходит на селе...

Но и горожанам было голодно и нелегко.

«...» Очень трудно стало доставать деньги, – писал Николай жене. – Их нет ни у кого».

«Получил сахар за июнь – 2 кило 600 граммов. Выдавали кило сыру – не мог взять за отсутствием денег».

«Получил банку консервов, 2 ½ кило перловой крупы и 2 кило трески».

Летом 1932 года Заболоцкий снова на военных сборах, на этот раз в белорусском Могилёве. «Остановились в Орловской гостинице, – сообщает Кате. – Взял общий номер на 12 человек – по 2 рубля с рыла. Ребята подобрались хорошие, все комвзвода запаса, быстро спелись друг с другом, и теперь все дела ведём вместе, коллективно и друг друга держимся. Выходит складно и ладно. Вчера вечером ходили гулять в здешний городской сад, и я вспомнил старое уржумское время – так всё здесь провинциально и незатейливо».

Его чувство к жене, к семье только крепнет – это видно по письму из Ленинграда на Сиверскую от 19 февраля 1933 года:

«Без вас мне здесь по-настоящему скучно, и чувствую себя часто просто несчастным человеком. Милые мои дурачки, папка вас любит обоих очень, хотя и не любит говорить об этом. Я вот всё думаю о том, что ты сказала мне, – будто я только когда-то раньше любил по-настоящему, а теперь не то. Да, не то, дурачок, но это не значит – меньше. Это значит – иначе, по-другому, – ведь уж больше трёх лет, как мы поженились, было время образоваться чувству глубокому и постоянному. Потеряй я тебя теперь – что было бы со мной? Раньше я думал, что искусство – вся моя душа, а теперь оказалось – только половина. А другая половина – ты да Никитка. И обе половины милы, и обе должны существовать и друг друга поддерживать. <...>

Что плохого у нас сейчас? То, что живём отдельно.

Что хорошего? Прекрасный сынок, выходит книга.

Всё-таки перевес в хорошую сторону, а плохое есть перспектива исправить. <...>».

Екатерина Васильевна сильно скучала без мужа, вынужденного находиться в городе, и жила его редкими приездами. Вспоминала, как он гулял по саду с младенцем сыном, как смешно разговаривал с хозяином огорода – белым петухом, который, наставив на собеседника то один, то другой глаз, что-то важно отвечал человеку на своём петушином языке. Но ярче всего ей запомнился один эпизод весны 1933 года. В ту пору на даче гостили родственники, и они с мужем и ребёнком перебра-

лись этажом выше, в мансарду: «С Никитушкой в руках я раскрыла большое окно маленькой летней веранды и позвала Николая Алексеевича. Было так хорошо! В саду цвели белые и синие lupinocy и сверху казались свечами, подымающимися из зелени, пели птицы, за огородом стоял амбар...»

Наверное, ту же самую радость испытал тогда и Заболоцкий: вскоре у него появилось стихотворение «Семейство художника» (оно датируется в книгах 1932 годом, но Никита Заболоцкий убеждён, что написано именно в 1933 году):

Могучий день пришёл. Деревья встали прямо.
Вздохнули листья. В деревянных жилах
вода закапала. Квадратное окошко
над светлою землёю распахнулось,
и все, кто были в башенке, сошлись
взглянуть на небо, полное сиянья.

И мы стояли тоже у окна.
Была жена в своём весеннем платье,
и на руках Никитушка сидел,
весь розовый и голый, и смеялся,
и глазки, полные великой чистоты,
смотрели в небо, где сияло солнце.

А там внизу – деревья, звери, птицы,
большие, сильные, мохнатые, живые,
сошлись в кружок и на больших гитарах,
на дудочках, на скрипках, на волынках
вдруг заиграли утреннюю песню
Никитушке – и всё кругом запело.

И всё вокруг запело, так что козлик –
и тот пошёл скакать вокруг амбара.
И понял я в то золотое утро,
что смерти нет, и наша жизнь бессмертна.

ДЕЛО ОБЭРИУТОВ

В советскую пору как никогда расцвели аббревиатуры...

ОБЭРИУ – Объединение единственно реального искусства – было последней крупной творческой группой, которая заявила о своей творческой самостоятельности. Конечно, это был вызов социалистическому реализму и делу пролетарского искусства. РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей – естественным образом тут же стал самым яростным противником и критиком обэриутов. ГПУ – Главное политическое управление – поначалу было как бы над схваткой, присматривалось и к тем и к другим. Но потом власть решила: пора навести порядок в разбредшихся кто куда творцах искусства, которое *принадлежит народу*. Обэриуты попали под репрессии; РАПП был распущен, но членов ассоциации не преследовали: всё-таки свои. Тогда как обэриуты – явные враги: абсурдисты, иррационалисты. Проповедники абсурдизма, они и господствующую в стране идеологию тоже считают абсурдной и тем самым отрицают её. А вот этого большевики не терпели...

10 декабря 1931 года Хармс и Введенский были арестованы. Взяли под стражу также поэта-заумника Туфанова, художников Калашникова и Воронича, молодого работника Госиздата Андроникова, а чуть позже задержали Бахтерева. Все они подозревались в создании нелегальной антисоветской группировки литераторов.

Даниила Хармса задержали на квартире Калашникова, где частенько собирались все обэриуты.

Пётр Петрович Калашников, по натуре свободный художник, жил без семьи был немного писателем, а на жизнь подрабатывал рисованием таблиц. У него была богатая библиотека: редкие издания, оккультно-мистическая литература, которой особенно интересовались обэриуты, и Николай Заболоцкий в том числе. (После приговора эта библиотека в 5429 томов была конфискована органами ГПУ.) В доме Калашникова устраивались литературные чтения, обсуждения новинок, ну и, конечно, там велись всяческие общие беседы. На огонёк заглядывали писатели, художники, актёры: нигде так свободно не говорилось о литературе, о жизни, о политике. В издательстве не повольничаешь: даже Хармс опасался там посторонних ушей. Про Дом писателей нечего и говорить: в нём хозяйничали рапповцы и царил тупой и занудный официоз. О взглядах самого Калашникова можно судить по его показаниям на допросе, правда, не собственноручных – записывал следователь. Пётр Петрович признавался, что он сторонник идеальной конституционной монархии – «в такой монархии не будет надобности в жандармах и в охранке»; он жалел четыре миллиона белоэмигрантов, эту «огромную культурную силу», вынужденную покинуть страну; возмущался методами коллективизации на селе; сомневался в том, что инженеры, проходившие по делу Промпартии, были вредителями: «истинно русская интеллигенция не способна на вредительство», большевики просто хотели переложить с себя на них вину в хозяйственных неудачах. Словом, это были взгляды довольно большой части русской интеллигенции...

Аресту обэриутов предшествовала кампания в печати по разоблачению детских писателей-«вредителей». Никита Заболоцкий приводит в своей книге характерный случай:

«В обед или после работы редакционная компания переходила на другую сторону канала Грибоедова и обосновывалась в “Культурной пивной”. Говорили здесь обо всём, не касались только политических тем – понимали, что кто-то за ними следит и докладывает об их “благонадёжности” куда следует. Иногда передавали друг другу газету или журнал с очередной разгромной рецензией. В апреле 1930 года Олейников молча протянул Заболоцкому молодёжную газету “Смена” с заметкой о последнем выступлении обэриутов Б. Левина и Ю. Владимирова в студенческом общежитии Ленинградского университета. В заметке говорилось: “Обэриуты далеки от строительства. (Образчик рубленой – по смыслу – речи того времени, типа госта Шарикова: «Желаю, чтобы все!» – В. М.) Они ненавидят борьбу, которую ведёт пролетариат. Их уход из жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглёрство – это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их поэтому контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага, – так заявило пролетарское студенчество”».

(Понятно, почему после такой «артподготовки» никого из обэриутов арест не удивил...)

Печать называла Хармса «реакционным жонглёром», Введенского – «классово враждебным». Заболоцкому же приклеили ярлык – «кулацкий поэт» (заметим, за два года до выхода «Торжества земледелия», когда это клеймо стало «нормой»). Один из оппонентов дошёл до того, что «разоблачил» и его псевдоним «Яша Миллер», под которым Николай изредка печатал свои непритязательные, в общем-то

халтурные детские стихи. При этом рецензент ещё и обвинял Заболоцкого в том, что поэт, получив «достаточный отпор марксистско-ленинской критики», решил-де спрятаться под выдуманном именем...

В августе 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об издательской работе», которое прямо указывало, что характер и содержание книг должны «целиком и полностью отвечать целям социалистической реконструкции». Сочинитель Сергей Васильев в момент откликнулся стихком в «Литературной газете» – о том что хватит читать о птичках и Коньке-Горбунке, которого «трактор опередил». Он гневно вопрошал:

А где же классы,
Борьба и массы?..

...В литературе в то время было двое Васильевых – Павел и Сергей. Порой их путали. Однажды Пашка Васильев, безмерно одарённый и столь же буйный нравом, позвал с приятелями Сергея в ресторан. Заказал огромную яичницу. А когда официант принёс шипящую сковороду, разом опрокинул её на голову своего бездарного однофамильца – с криком: «Не позорь фамилию!» Кутерьма, драка... Пошёл ли тому урок на пользу? Ну, это вряд ли, хотя кто знает...

Одновременно с арестом Хармса на его квартире прошёл обыск. Изъяли рукописи, переписку и «10 мистико-окультиных книг».

В ДПЗ (ещё одна аббревиатура!) – доме предварительного заключения – начались допросы. Следствие тогда было ещё мягким, заключённых не пытали, хотя и само содержание молодых людей под стражей – разве же не пытка?.. Все допрашиваемые охотно окровенничали и оговаривали себя и друг друга – вероятно, поддаваясь на посулы следователей смягчить наказание. (Впрочем, большинство протоколов начертаны рукой дознавателя, а не подозреваемого – тот лишь подписывал...)

Хармс на первом же допросе заявил, что он человек «политически не мыслящий», но с политикой Советской власти в области литературы не согласен и желает свободы слова. Полуграмотный стиль следователя особенно заметен в протоколе второго допроса: «Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся идеологом антисоветской группы литераторов, в основном работающих в области детской литературы, куда помимо меня входили А. Введенский, Бахтерев, Разумовский, Владимиров (умер), а несколько ранее Заболоцкий и К. Вагинов». О творчестве он сказал, что это были «заумные, по существу, контрреволюционные стихи, предназначенные нами для взрослых, которые, в силу своих содержания и направленности, не могли быть отпечатаны в современных советских условиях и которые мы распространяли в антисоветски настроенной интеллигенции, с которой мы и связаны общностью политических убеждений». Касаемо произведений для детей Хармс заметил, что они считали эти стихи не настоящими, а для заработка на существование. Последнее во многом было правдой, хотя дети – читатели его стихов – ни за что бы не согласились с Даниилом Ивановичем. Вот насчёт стишат Яши Миллера, вроде: «Солнышко, солнышко, золотые зайчики! / Вы с востока прибыли, с востока принесли! / Дружно ли китайцы там бороться начали, / Крепко ли индусы драться собрались?» – детишки, пожалуй бы, согласились: больно уж похожи на взрослые. Даниил Хармс на допросе ещё резче оценил подобные вирши своего друга: «Как халтурно-приспособленческое я могу квалифицировать и всё творчество для детей другого члена нашей группы Заболоцкого».

Александр Введенский сознался в том, что входил «совместно с писателями Хармсом, Бахтеревым, ранее Заболоцким и пр. в антисоветскую литературную группу, которая сочиняла и распространяла объективно контрреволюционные

стихи». Со следователями он был ещё разговорчивее, чем Хармс, и припоминал всё в подробностях, не заботясь, как это может сказаться на чужих судьбах.

От Введенского добивались показаний на Маршака и Олейникова, и он показывал то, что нужно было обвинению. Про Олейникова даже сказал, что тот весьма интересовался Троцким.

Показания Введенского ненароком рисуют яркий портрет Олейникова: «Делясь с Хармсом впечатлениями об одном из докладов одного из руководителей семинара по диалектическому материализму, Олейников зло иронизировал над этим докладом, говоря, что с точки зрения сталинской философии понятие “пространства” приравнивается к жилплощади, а понятие “времени” к повышению производительности труда через соцсоревнование и ударничество». Олейникову, говорил Введенский на допросе, нравились их с Хармсом заумные контрреволюционные произведения для взрослых: «В беседах с нами он неоднократно подчёркивал всю важность этой стороны нашего творчества, одобряя наше стремление к культивированию и распространению контрреволюционной зауми. Лястя нашему авторскому самолюбию, он хвалил наши заумные стихи, находя в них большую художественность. Всё это, а также и то, что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял себя как человека оппозиционно настроенного к существующему партийному и советскому режиму, убедило нас в том, что Олейникова нам не следует ни пугаться и ни стесняться, несмотря на его партийную принадлежность».

Старорежимную лексику своих произведений (по тогдашним советским понятием уже одно это было контрреволюцией) Введенский объяснял «технологией», а именно тем, что новые советские слова, такие как «ударничество» или «соцсоревнование», просто не годятся для поэтической зауми: «В подавляющем большинстве наших заумных поэтических и прозаических произведений (<...> сплошь и рядом встречаются слова, оставшиеся теперь лишь в белоэмигрантском обиходе и чрезвычайно чуждые современности. Это – “генерал”, “полковник”, “князь”, “бог”, “монастырь”, “казаки”, “рай” и т. д. и т. п. Таким образом, ведущие идеи наших заумных произведений, обычно идущие от наших политических настроений, которые были одно время прямо монархическими, облекаясь различными художественными образами и словами из лексикона старого режима, принимали непосредственно контрреволюционный, антисоветский характер». Серьёзно ли сказано или же в издёвку – трудно разобрать; но не пародиен ли сам этот ответ в ДПЗ о поэтике зауми?..

Ещё более сложно Введенский толковал свой и друзей монархизм, выводя его из внутренних требований самой зауми:

«Царь мог быть дураком, человеком, не способным управлять страной, монархия (<...> могла быть бессмысленной для страны, но именно это и привлекало нас к монархическому образу правления страной, поскольку здесь в наиболее яркой форме выражена созвучная нашему творческому интеллекту мистическая сущность власти. В наших заумных, бессмысленных произведениях мы ведь тоже искали высший, мистический смысл, складывающийся из кажущегося внешне бессмысленного сочетания слов».

В показаниях Введенского есть вполне правдивые подробности умонастроений обэриутов – о том, как Александр «информировал» Даниила, принципиально не читавшего газет, о политических событиях. И тому и другому не нравилось, что происходит в стране, «причём основным лейтмотивом наших политических бесед была наша обречённость в современных советских условиях».

В. Шубинский замечает по этому поводу:

«Однако характерно, что и Заболоцкий – человек “красный”, отнюдь не ощущавший себя обречённым (это ещё вопрос – В. М.), поминается в том же контексте:

“Поэма ‘Торжество земледелия’ Заболоцкого носит, например, понятный характер, и ведущая его идея, чётко и ясно выраженная, апологитирует деревню и кулачество. В моей последней поэме ‘Кругом возможно бог’ имеются также совершенно ясные места, вроде: ‘и князь, и граф, и комиссар, и красной армии боец’, или ‘глуп, как Карл Маркс’, которые носят совершенно антисоветский характер”.

В одном абзаце соединены теза и антитеза: гротескная утопия Заболоцкого и мрачная мистерия Введенского. Было ли это инициативой Введенского? Возможно, он объединил две поэмы, чтобы продемонстрировать переход к более ясному слогу, к отказу от зауми, а следователь приделал политические ярлыки? Но любопытно, что поэма Заболоцкого именуется “кулацкой” за год до публикации её полного текста. Создаётся впечатление, что черновики рецензий-доносов, появившихся в 1933–1934 годах и сыгравших в жизни Заболоцкого роковую роль, были приготовлены заранее».

Кто бы сомневался!.. Ясно, что следователи по делу обэриутов подбирали материал, чтобы арестовать Маршака, Олейникова, Заболоцкого – и «замутить» по-настоящему крупное дело на ленинградских писателей.

Неспроста ведь они так тщательно допрашивали самого молодого и неустойчивого из арестованных – Ираклия Андроникова, в то время секретаря детского сектора Госиздата. Тот всюю «сотрудничал со следствием». А. Кобринский пишет по этому поводу: «Если все остальные арестованные прежде всего давали показания о себе, а уже потом вынужденно говорили о других, как членах одной с ними группы, то стиль показаний Андроникова – это стиль классического доноса. При этом Хармс, Введенский, Туфанов ссылаются чаще всего на материал, уже доступный следователю: либо на опубликованные произведения членов группы, либо на те, которые у них изъяли. Андроников выходит далеко за эти рамки, информируя следователя – помимо своего мнения об “антисоветских произведениях” своих друзей – также и об обстоятельствах знакомства и личного общения, подавая их в нужном следствию ключе».

На первом же допросе И. Андроников собственноручно написал, что знал о существовании «группы Хармса – Введенского», перечислил имена всех писателей и художников, кто туда входил:

«Существование образцов реакционного творчества (картины филоновской школы Порэт и Глебовой), любовь к старому строю, антисоветская сущность детских произведений Хармса и Введенского и личные беседы с ними, в которых они выявляли себя как убеждённые противники существующего строя, свидетельствовали об антисоветских убеждениях названной группы литераторов».

Впоследствии *показывал*, что группа Введенского – Хармса «опиралась на редакторов: Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липавского-Савельева, помогавших ей протаскивать свою антисоветскую продукцию».

По наблюдениям Андроникова, идейная близость «группы» с редакторами выражалась в чтении друг другу своих новых стихов обычно в уединённой обстановке, в разговорах, носивших подчас интимный характер, в обмене впечатлениями и мнениями, «заставлявшими меня думать об общности интересов (...) этих лиц». Молодой редактор сообщал следствию: Хармс и Введенский приходили в издательство постоянно, «проводя почти всё время в обществе Шварца, Олейникова и Заболоцкого, к которым часто присоединялся Липавский, и оставались в нём по многу часов. Часто, желая поговорить о чём-либо серьёзном, уходили все вместе в пивную под предлогом использования обеденного

перерыва». Встречая же их всех на симфонических концертах и на выставках картин Нико Пиросманишвили и Филонова, Андроников окончательно убедился в том, что «эти люди связаны между собой идейной общностью, выразившейся в их взглядах и настроениях».

* * *

Итак, следствие по делу обэриутов, целенаправленно расширяя круг подозреваемых и собирая на них обвинительный материал, явно хотело засадить под арест Олейникова, Маршака, Заболоцкого, Липавского и других. Но почему-то это не удалось. Возможно, самостоятельно *оформить* не могли – а столичное начальство не велело. Или в литературной политике намечалось – вместо карательных мер – некоторое послабление в связи с будущим объединением всех литераторов. Недаром вскоре власть распустила РАПП и создала Союз писателей, включив «попутчиков» на равных правах в общий строй литераторов.

Самый большой срок получил А. В. Туфанов – пять лет концлагеря. Д. И. Ювачёва (Хармса) приговорили к трём годам концлагеря. Столько же получил П. П. Калашников. Н. М. Воронича выслали в Казахстан на три года. И. В. Бахтерева освободили, лишив права проживания в Московской и Ленинградской областях на три года. Освободили и А. И. Введенского – без права проживания в столичных областях и в крупных городах страны сроком на три года. На И. Л. Андроникова дело и вовсе было прекращено «за недоказанностью его вины».

Среди обвинений в антисоветской деятельности, предъявленных обэриутам, были весьма забавные. Как ни разъясняли Хармс с Введенским суть их зауми, следователи не поддались. Хармс, оказывается, «путём использования “заумного” творчества» зашифровывал контрреволюционное содержание «литературного творчества группы»; Введенский же – «культивировал и распространял поэтическую форму “зауми”, как способ зашифровки антисоветской агитации». Остаётся гадать, поняли ли этих шифровальщиков читатели?..

Иван Павлович Ювачёв, как только был оглашён приговор, отправился в Москву к Николаю Морозову, своему другу по революционной молодости и годам заключения при царе. Морозов был одним из самых авторитетных и влиятельных старых революционеров. Наверное, его ходатайство и позволило смягчить наказание Даниилу Хармсу – вместо концлагеря его отправили в ссылку.

Отец, сестра и тётка навестили Хармса в ДПЗ и нашли его – спустя полгода заключения – бледным, худеньким, слабым. Ивану Павловичу 27-летний сын и вовсе показался «библейским отроком» Исааком или Иосифом Прекрасным.

17 июня 1932 года Даниил вышел на свободу – и в тот же день отправился к Заболоцкому, Олейникову и Шварцу, а также побывал в гостях у Житкова.

Александр Введенский к тому времени уже отбывал свою ссылку в Курске, который он выбрал местом проживания. Узнав, что друг вышел на свободу, тут же отправил ему письмо: «Здравствуй, Даниил Иванович, откуда ты взялся. Ты говоришь, подлец, в тюрьме сидел. Да? Что ты говоришь? Говоришь, думаешь ко мне в Курск прокатиться, дело хорошее... Рад буду тебе страшно, завтра же начну подыскивать тебе комнату...» Комнаты нашлись целых две, и в Курске друзья несколько месяцев провели под одной крышей. В дальнейшем Введенский отбывал ссылку в Вологде и Борисоглебске... Поскольку мысли его в основном были заняты загадкой времени, он и шуточки в письмах к другу отпускал на тему этой философской категории: «Я уехал в Вологду. Тут зима. Сейчас иду обедать. Время тут такое же как в Ленинграде, то есть как две капли воды» или, из Борисоглебска: «Часто ли ты бреешь бороду? Между прочим, будь добр, напиши, который у вас час»...

После дела обэриутов в Детгизе произошли изменения: Заболоцкому и Липавскому пришлось уволиться. Олейников и Маршак остались...

В курской ссылке Хармсу жилось худо, настроение было плохим, и в конце концов он возненавидел этот город. А вот полгода заключения в ленинградском ДПЗ, к удивлению друзей, вспоминал чуть ли не с умилением.

Спрашивается, почему бы это? Объяснение Хармса:

«Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Совесть была спокойна, и я был счастлив».

Николай Олейников, наверное, только усмехался на такие слова. Он-то чуял лучше всех друзей, к чему дело идёт. Недаром через два года написал своего знаменитого «Таракана», предпослав ему эпиграф из лебядкинских стихов Достоевского: «Таракан попал в стакан»:

Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосёт.
Он попался. Он в капкане,
И теперь он казни ждёт.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят. <...>

Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печёнки, кости, сало –
Вот что душу образует. <...>

Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.

Вот палач к нему подходит,
И, ощутив ему грудь,
Он под рёбрами находит
То, что следует проткнуть.

И, проткнувши, на бок валит
Таракана, как свинью,
Громко ржёт и зубы скалит,
Уподобленный коню.

И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат,
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат. <...>

И стоит над ним лохматый
 Вивисектор удалой,
 Безобразный, волосатый,
 Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,
 Знай, что мёртвый таракан –
 Это мученик науки,
 А не просто таракан. <...>

На затоптанной дорожке
 Возле самого крыльца
 Будет он, задравши ножки,
 Ждать печального конца.

Его косточки сухие
 Будет дождик поливать,
 Его глазки голубые
 Будет курица клевать.

Конечно, аллегория можно понимать по-всякому, на то она и аллегория. Но очень уж похож таракан в стакане на арестанта в ДПЗ, вивисекторы – на карательные органы, а наука – на то самое передовое учение, для которого душа не существует. Газеты Олейников читал и хорошо знал, что в стране происходит. На счёт собственной участи у него тоже обольщений не было. В 1937 году написано простенькое стихотворение – уже безо всякой иронии:

Птичка безрассудная
 С беленькими перьями,
 Что ты всё хлопчешь,
 Для кого стараешься?
 Почему так жалобно
 Песенку поёшь?
 Почему не плачешь ты
 И не улыбаешься?
 Для чего страдаешь ты,
 Для чего живёшь?
 Ничего не знаешь ты, –
 Да и знать не надо.
 Всё равно погибнешь ты,
 Так же, как и я.

В том же году Николая Макаровича Олейникова арестовали и расстреляли. Обвинили в контрреволюционном троцкистском заговоре, – о его интересе к Троцкому ещё Андроников *показывал* пять лет назад. В ГПУ – НКВД – всё шло в *дело*. Как и материалы на Заболоцкого, которого «возьмут» в 1938-м.

Хармс и Введенский в 1937–1938 годах, по какому-то странному везению, уцелели (наверное, по своей аполитичности никому не были нужны, у НКВД и без них работы хватало). Но везения надолго не хватило: в начале войны они были арестованы и вскоре погибли...

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УТОПИЙ

После мрачных фантазмагорий «Столбцов» Николая Заболоцкого с новой силой потянуло к натурфилософии, – как будто из промозглого, ненастного Питера ему вдруг сильно захотелось на залитую солнцем лесную поляну.

Уроки натурфилософии ему ещё в отрочестве преподавал отец-агроном – всей своей жизнью и работой. В юности Николая заморозил «Фауст»: неспроста своему другу Михаилу Касьянову он писал: «божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него бога». Любопытное признание восемнадцатилетнего сочинителя: творения писателя оградили юношу от самого Творца – пеленой, размывающей Свет.

В 1933–1934 годах объезды, нуждаясь в обществе друг друга, постоянно собирались вместе: читали новое, вели беседы. Один из них, Леонид Липавский, записывал эти речи, стараясь быть предельно точным. Так появились его «Разговоры», изданные многие годы спустя.

Однажды Заболоцкий прочёл товарищам новую поэму «Облака», и завязался спор о жанре поэмы, о композиции, о сюжете. Очередь дошла до автора, и он высказал такую мысль: «Когда-то у поэзии было всё. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно. В России поэзия жила один век – от Ломоносова до Пушкина. Быть может сейчас, после большого перерыва пришёл новый поэтический век. Если и так, то сейчас только самое его начало. И от этого так трудно найти законы строения больших вещей».

Похоже, Заболоцкому втайне хотелось утвердить новый поэтический век именно своим творчеством. И заметим: первостепенное место в этом деле он отдавал науке.

Его самобытность шла от характера: он до всего стремился дойти своим умом. И ничего не брал на веру, всё обстоятельно обдумывал. Никита Заболоцкий писал, что определить, на какой базе сформировались взгляды поэта, весьма нелегко. Тут и общение с отцом, и собственные наблюдения (добавим – и отроческие опыты), и прочитанное в книгах. «Была характерная особенность в его работе с литературой, в восприятии искусства, в разговорах со знающими людьми – из всех этих источников он брал для себя только те сведения и идеи, которые подтверждали или могли подтвердить его собственные представления о мире. Он как будто профильтровывал входящую в него информацию, но и то, что не мог использовать, не отбрасывал совсем, а прятал куда-то в глубины памяти и потом, порою, обнаруживал, казалось бы, далёкие от его интересов познания. В конечном счёте такая избирательность была подчинена интересам творчества. Из известных нам литературных источников, которыми поэт питал свою мысль, следует назвать работы Платона, Дарвина и Энгельса, Гёте и Хлебникова, Гр. Сквороды и Тимирязева, Вернадского и Циолковского. Но этот перечень, конечно, далеко не полный».

(Заметим в скобках: состав «источников» – довольно разношёрстный. Тут и поэты, и философы, и учёные и, так сказать, полуучёные – такие, как Энгельс и Дарвин. К примеру, «учение» Чарльза Дарвина больше гипотетического характера, чем строго научного. Слишком уж Дарвин был увлечён алхимической теорией трансмутации, считая её «могучим орудием исследования» и полагая, что «надо довериться ей, а она уж выведет нас куда-нибудь». Словом, эволюционный мечтатель! В дневнике писал: «Если мы позволим себе дать полную волю воображению, может оказаться, что животные – наши братья». В итоге, по Дарвину, человек произошёл от мира зверей, последним звеном которого была обезьяна. Ещё интереснее его

рассуждение о том, как появились киты. Оказывается, их предки – бурые медведи: косолапый «часами плавает и, широко разинув пасть, не хуже кита ловит в воде насекомых».)

Смелые предсказания учёных о будущем человечества и жизни на земле, иначе говоря научные утопии, перекликались в Заболоцком с его поэтическими утопиями и питали друг друга. Утопия учёного разума и высокое безумие поэта – *одного поля ягода*, пределом тому и другому – абсурд, любимое состояние обэриутства.

Когда Заболоцкому попалась в руки брошюра Циолковского «Растение будущего. Животное Космоса. Самозарождение» (1929), он был настолько поражён прочитанным, что, обыскав книжные лавки и библиотеки Ленинграда и не найдя там работ *калужского мечтателя*, обратился с письмом прямо к нему, попросив, по возможности, прислать ему эти труды. ««...» мне кажется, что *искусство будущего так тесно сольётся с наукой*, что уже и теперь пришло для нас время узнать и полюбить лучших наших учёных – и Вас в первую очередь», – писал поэт Циолковскому 7 января 1932 года (курсив мой. – В. М.). То есть именно в слиянии с наукой видел Заболоцкий начало пути, по которому должна пойти поэзия, чтобы утвердить свою новую гармонию и всевладычество, утраченные в прошлом.

Уже через неделю Заболоцкий получил от Циолковского его печатные работы: «Монизм Вселенной», «Причина Космоса», «Современное состояние Земли», «Прошедшее Земли», «Будущее Земли и человечества», «Воля Вселенной» и другие – всего 18 брошюр. Поэт жадно их прочитал, а затем переплёл в один том. 18 января 1932 года он написал учёному большое письмо, на редкость горячее и откровенное (в общем-то для него несвойственное), которое стоит того, чтобы привести его в главных подробностях:

«Дорогой Константин Эдуардович!

Ваши книги я получил. Благодарю Вас от всего сердца. Почти все я уже прочёл, но прочёл залпом. На меня надвинулось нечто до такой степени новое и огромное, что продумать его до конца я пока не в силах: слишком воспламенена голова.

Не могу не выразить своего восхищения перед Вашей жизнью и деятельностью. Я всегда знал, что жизнь выдающихся людей – великий бескорыстный подвиг. Но каждый раз, когда сталкиваешься с таким подвигом на деле, – снова и снова удивляешься: до какой степени может быть силён человек! И теперь, соприкоснувшись с Вами, я снова наполняюсь радостью – лучшей из всех земных радостей, – радостью за человека и человечество.

Ваши книги я буду изучать долго и внимательно. Некоторые вопросы для меня не ясны, несмотря на то что Вашу переписку с корреспондентами я прочёл внимательно.

Например, мне неясно, почему моя жизнь возникает после смерти. Если атомы, составляющие моё тело, разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совершенные организации, то ведь данная-то ассоциация их уже больше не возобновится и, следовательно, я уже не возникну снова.

Допускаю, что атом, попадая в организм извне, проникается жизнью этого организма и начинает думать, что он живёт в этом организме с самого зачатия. Но ведь эта же картина произойдёт с каждым из моих атомов: они войдут в состав различных организмов и проникнутся *их* жизнью, забыв о жизни в *моём* теле, – точно так же, как сейчас они не помнят о своих предыдущих существованиях.

О душе ни слова. Наука!.. атомы!..

Душа – появится в его стихах потом, после испытаний времени...

Но продолжим:

«Наконец, и самый атом не есть неделимая частица. Он – тоже организация более мелких частиц. Последние, надо думать, в свою очередь состоят из более мелких и т. д. Атом при известных условиях разрушается точно так же, как разрушаюсь (умираю) я. С каждой из составляющих его частиц происходит то же, что и с моими атомами после моей смерти.

Чем совершеннее организация, тем лучше чувствует себя каждая составляющая её часть. Чем совершеннее атом – тем лучше электрону, чем совершеннее человек – тем лучше атому, чем совершеннее человеческое общество – тем лучше человеку. Личное бессмертие возможно только в одной организации. Не бессмертны ни человек, ни атом, ни электрон. Бессмертна и всё более блаженна лишь материя – тот таинственный материал, который мы никак не можем уловить в его окончательном и простейшем виде».

Не можем уловить – но это пока; уловим – приобщимся к бессмертию, к блаженности материи. Сделаемся с помощью ума – богами... Всё дело – в совершенствовании, в организации: электрона, атома, общества. И человеку, рано или поздно, это будет по силам... Материализм так или иначе приводит к чело-векобожию.

«Вот мне и кажется, что Вы говорите о блаженстве не нас самих, а о блаженстве нашего материала в других, более совершенных организациях будущего. Всё дело, очевидно, в том, как понимает и чувствует себя человек. Вы, очевидно, очень ясно и твёрдо чувствуете себя государством атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. Ведь одно дело – знать, а другое – чувствовать. Консервативное чувство, воспитанное в нас веками, цепляется за наше знание и мешает ему двигаться вперёд. А чувствование себя государством есть, очевидно, новое завоевание человеческого гения.

Это ощущение, столь ясно выраженное в Ваших работах, было знакомо гениальному поэту Хлебникову, умершему в 1922 году».

В доказательство Заболоцкий привёл стихотворение Хлебникова «Я и Россия». А затем переписал строки из своей поэмы «Торжество земледелия» и стихотворения «Школа жуков», показывая, как близки ему мысли Циолковского о будущем Земли, человечества, животных и растений. Эти мысли, заметил поэт, «глубоко волнуют меня (...). В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их».

Завершая письмо, он сказал, что живёт «в кругу этих тем» давно:

«Сейчас мне 28 лет. В будущем надеюсь писать об этом ещё. (...)

Не могу ли я быть чем-нибудь полезен для Вас в Ленинграде? Правда, я не располагаю видным общественным положением, в литературе я пока почти одинок, но всё, что я в силах сделать, – я исполнил бы с величайшей готовностью».

Что ответил Циолковский, неизвестно: его письма к Заболоцкому не сохранились. Однако мысли Заболоцкого ему, несомненно, показались интересными: он процитировал часть письма поэта в своей брошюре «Стратоплан-полуреактивный» (1932) – в разделе «Отзывы», а саму книжечку прислал своему корреспонденту с дарственной надписью.

Заболоцкого восхищал в Циолковском полёт человеческой мысли, открывающей, как, наверное, казалось поэту, безграничные возможности для разумного устройства жизни. Однако монизм учёного он разделял до определённого рубежа: не мог принять того, что эволюция отсечёт «низших животных». Заболоцкий верил, что человеческий разум может и должен сохранить всё, что есть в природе – животных и растения. Сделать это нужно непременно, ведь в каждом живом существе, а быть может, и в неорганическом мире, есть сознание – в той или иной степени развития.

В поэме «Безумный волк» (1930), – по свидетельству Н. Роскиной, Заболоцкий считал эту поэму высшим достижением своей поэтической и философской мысли, своим «Фаустом», – *медведь* спрашивает *волка*: ««...» откуда появилось / у зверя вверх желание глядеть? / Не лучше ль слушаться природы – / глядеть лишь под ноги да вбок», на что волк, говоря, что многих сам перекусал и «горизонтальный мой хребет / с тех пор железным стал и твёрдым», вдруг признаётся:

Меж тем вверху звезда сияет –
Чигирь – волшебная звезда!
Она мне душу вынимает,
сжимает судорогой уста.

Безумный волк – существо, благодаря мысли и «опытам» растущее в высоту из своей горизонтальной звериной натуры, начинающее «сознавать» природу:

Однако
услышать многое ещё способен ум.
Бывало, ухом прислонюсь к берёзе
и различаю тихий разговор.
Берёза сообщает мне свои переживанья,
учит управлению веток
как шевелить корнями после бури
и как расти из самого себя.

Волк свершает свой последний подвиг: умирая, делясь землёй, – улетает в небо:

Тому, кто видел, как сияют звёзды,
тому, кто мог с растеньем говорить,
кто понял страшное соединенье мысли –
смерть не страшна, и не страшна земля.

Последние слова безумного волка в его «монолог в лесу» напоминают знаменитую формулу Державина из оды «Бог»: «Я царь – я раб – я червь – я Бог!»:

Ничтожный зверь, червяк в паршивой шкуре,
лесной босяк в дурацком колпаке –
я – царь земли! Я – гладиатор духа!
Я – Гарпагон, подъятый в небеса!

Я ухожу. Берёзы, до свиданья.
Я жил как бог и не видал страданья.

И звери в лесу следуют своему вождю, «Великому Летателю Книзу Головой» – строят «новый лес», в котором «горит как смерч великая наука», несут его ««...» вечное дело / туда – на звёзды – вперёд!»

...В августе 1953 года, по воспоминаниям сына, Заболоцкий читал «Безумного волка» Борису Леонидовичу Пастернаку, и тому поэма понравилась. Возможно, ему хотелось показать Пастернаку, что он не отказался, как тот, от своих ранних стихов, хотя возможно и другое – что сам ещё находился под обаянием своего натурфилософского творчества, оставшегося незнакомым читателю.

Тогда же, в начале 1930-х, молодого поэта поистине ужасало, как устроен мир, это взаимное пожирание одного живого существа другим. В стихах это запечатлено множество раз – и передаётся с возрастающей безжалостной зоркостью.

Кот-отшельник («Бессмертие», 1928) чует человеческое жильё как житейский ад:

⟨...⟩ там от плиты и до сортира
лишь бабьи туловища скачут;
там примус выстроен как дыба,
на нём, от ужаса треща,
чахоточная воеет рыба
в зелёных масляных прыщах;
там трупы вымытых животных
лежат на противнях холодных
и чугуны – купели слёз –
венчают зла апофеоз.

Сама природа мало чем отличается от человеческой кухни. *Лодейников* (в одноимённом стихотворении, 1932) – глазами сердца – видит борьбу за существование, происходящую в мире растений:

⟨...⟩ Трава пред ним предстала
стеной сосудов. И любой сосуд
светился жилками и плотью. Трепетала
вся эта плоть и вверх росла, и гуд
шёл по земле. Прищёлкивая по суставам,
пришлёмывая, странно шевелясь,
огромный лес травы вытягивался вправо –
туда, где солнце падало, светясь.
И то был бой травы, растений молчаливый бой.
Одни, вытягиваясь жирною трубой
и распутив листы, других собою мяли,
и напряжённые их сочлененья выделяли
густую слизь. Другие лезли в щель
между чужих листов. А третьи как в постель
ложились на соседа и тянули
его назад, чтоб выбился из сил...

Невыносимая картина!.. Из оцепенения Лодейникова выводит лишь одно:

И в этот миг жук в дудку задудил. ⟨...⟩
Природа пела. Лес, подняв лицо,
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом
звенела вся как звонкое кольцо.
На луге белом
кузнечики трясли сухими лапками,
жуки стояли чёрными охапками –
их голоса казались сучками...

Как совместить это всеобщее самопожирание природы с её пением? Уму Лодейникова это было невозможно.

«...» и он лежал в природе словно в кадке –
совсем один – рассудку вопреки.

Мужик в «Осени» (1932) страшно мучится от такой несовершенной жизни и мечтает «разбить синонимы: природа и тюрьма»:

Мир должен быть иным. Мир должен быть круглей,
величественней, чище, справедливей,
мир должен быть разумней и счастливей,
чем раньше был и чем он есть сейчас.

В трудах учёных Заболоцкий искал выход из этого, по его мнению, тупика эволюции.

В учении Вернадского ему по сердцу пришлась идея о том, что человечество будет использовать для питания солнечную энергию и даже неорганические вещества. В работах Циолковского ему нравится то, что вся материя по существу жива: «Вся сущность космоса (как и все его виды) в зачатке жива и, принимая органически сложные формы, способна чувствовать радость и страдание, способна мыслить, судить, представлять и действовать». Циолковский утверждал, что «чувствующие» атомы есть даже в камне, – и это было близко мироощущению Заболоцкого. В работе Тимирязева «Жизнь растений» поэту была дорога мысль о том, что «сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека».

Однако как воплотить высшую справедливость в жизни, как сделать мир круглей и чище? Сочувствие к угнетённому человеком миру природы порой доходит у Заболоцкого до такой крайности, за которой безумие и абсурд:

КАМЕНЩИКИ

Мы поставим на улице сто изваяний.
Из алебаstra сделанные люди,
у которых отпилены черепные крышки,
мозг исчез,
а в дыры стеклянных глазниц
натекла дождевая вода,
и в ней купаются голуби, –
сто безголовых героев
будут стоять перед миром,
держа в руках окончанья своих черепов.
Каменные шляпы они сняли со своих черепов,
как бы приветствуя будущее!
Сто наблюдателей жизни животных
согласились отдать свои мозги
и переложить их в черепные коробки ослов,
чтобы сияло животных разумное царство.
Вот добровольная расплата человечества
со своими рабами!
Лучшая жертва,
которую видели звёзды!

Оптимистическая картина!.. Кстати, спрошено ли согласие у самих ослов на извлечение от их собственных мозгов, вдруг у животных другое мнение насчёт этого?..

«Рассудку вопреки» Николай Заболоцкий искал гармонию в природе – и не находил. Оставалось – «провидеть новый век». В поэме «Деревья» он записывает это провидение о человеке – «добром вожде» природы, о животных, которые наконец обретают сознание и сбрасывают свои вековечные тюремные вериги. Вот уже скоты – «рогатые граждане» сами пишут книгу:

О том, как человек, их старший брат и друг,
 всю землю превратит в один огромный сад,
 где зверь, и птица, и растение
 находят мирное своё соединение.

Но что это как не благодущная фантазия, записанная площадными стихами... На истинном художественном уровне поэта, автора «Столбцов», среди его натурфилософских стихов и поэм стоит лишь «Лодейников».

Заболоцкий чувствовал: эти провиденья-благопожелания всё же неубедительны, чего-то им не хватает. Не потому ли он собирался снабдить поэму «Деревья» примечаниями? Среди них мысли биологов, в частности, цитата из книги «Биосфера» академика Вернадского, замечание биолога Н. И. Грековой о мясной пище, идущей на образование мозговой ткани. Но самое примечательное и необычное примечание – мысль Григория Сковороды, человека глубоко верующего, единственного верующего из тех выдающихся умов, у которых поэт черпал опору в своей натурфилософии:

«Враги твои собственные суть мнения, воцарившиеся в сердце твоём и всеминутно оно мучающи, шепотники, клеветники и противники Божии, хулящие непрестанно владычное в мире правление и древнейшие законы обновить покушающиеся, сами себя во тьме и согласников своих мучающи, видя, что правление природы во всём не по бесноватым их желаниям, не по омрачённым понятиям, но по высочайшим Отца нашего советам вчера и днесь и вовеки свято продолжается. Сии то неразумюще хулят распоряжение кругов небесных, охуждают качество земель, порочат изваяние премудрой Божьей десницы в зверях, деревьях, горах, реках и травах; ничем не довольны; по их несчастному и смешному понятию, не надобно в мире ни ночи, ни зимы, ни старости, ни труда, ни голоду, ни жажды, ни болезней, а паче всего смерти; к чему она? Ах, бедное наше знание и понятие!»

Не к себе ли – отчасти, а то и полностью – обращена эта цитата из православного мыслителя?..

В 1934–1936 годах Заболоцкий написал новое стихотворение из, видимо, намеченного им цикла – «Лодейников в саду». В художественном смысле оно сильнее прежнего – но «спокойствия», гармонии в природе и этом новом творении поэт не нашёл. Природа божественно хороша только на вид – но она уже *не поёт*, как прежде, зато страшное в ней открывается Лодейникову с ещё большей очевидностью:

Лодейников склонился над листьями,
 и в этот миг привиделся ему
 огромный червь, железными зубами
 схвативший лист и прянувший во тьму.
 Так вот она, гармония природы!
 Так вот они, ночные голоса!
 На безднах мук сияют наши воды,
 на безднах горя высятся леса!
 Лодейников прислушался. Над садом
 шёл смутный шорох тысячи смертей.
 Природа, обернувшаяся адом,

свои дела вершила без затей.
 Жук ел траву, жука клевала птица,
 хорёк пил мозг из птичьей головы,
 и страшно перекошенные лица
 ночных существ глядели из травы.
 Природы вековечная давиленья
 соединяла смерть и бытиё
 в единый клуб. Но мысль была бессильна
 соединить два таинства её.

Алексей Пурин в статье «Метаморфозы гармонии: Заболоцкий» пишет:

«Постмодернизм, мыслящий стилистическое развитие искусства закончившимся, – несомненное следствие мыслительного феномена нашего времени – смертобоязни, порождённой “сумерками кумиров” и словами Ницше: “Бог умер”. Он – утопия вечной стилистической старости и стилистического равенства живого и мёртвого. Собственно говоря, в России постмодернизм берёт своё начало из “Философии общего дела” Николая Фёдорова, из его утопической мечты о всеотчем воскрешении – то есть из направления всей деятельности живых на физическое воскрешение всех ранее живших мёртвых. Кажущаяся гуманистической, эта фёдоровская идея на самом деле представляет собой один из самых бесчеловечных вариантов соборной утопии, ибо выражает интерес мертвеца, в жертву которому приносится всё живое. (Ну, допустим, не совсем так: мертвец сам-то никакого интереса к своему воскрешению не проявлял. – В. М.) Философия уничтожения жизни – очевидно – вырастает из смертобоязни».

А. Пурин считает, что утопия Фёдорова оказала огромное воздействие на русскую культуру первой трети XX века – в частности, на формирование семантической утопии Хлебникова, космической утопии Циолковского, «аналитического искусства» Филонова:

«Эти утопии в основе своей порождены всё той же отчаянной смертобоязнью человека, утратившего Бога и стремящегося заградиться от своего собственного страха – ракетами, цифровыми выкладками, словами.

Заболоцкий (...) оказался в начале 30-х годов на таком перекрёстке утопий. Его произведения той поры – стихотворения и поэмы “Подводный город”, “Школа жуков”, “Торжество земледелия”, “Безумный волк”, “Деревья” – рисуют жуткую картину постоянно уничтожающей себя природы. (...)»

Эту “вековечную давиленью” природы следует, по мысли Заболоцкого, прекратить вмешательством человека, – что в точности соответствует воззрениям Фёдорова: утопист призывал к поголовной мобилизации человечества на войну с природой. Правда, в отличие от библиотечного старца, чья ненависть к смертоносной реальности делала его утопию хотя бы целеустремлённой, Заболоцкий, осложняя мечту об изживании экзистенции своеобразным марксизмом и дарвинизмом, оставляет свою утопию безвыходно противоречивой.

Сказав “а” и уничтожив эксплуатацию человека человеком, рассуждает он, нужно сказать “б” и уничтожить эксплуатацию человеком природы – его, человека, насилие над животными и растениями, ибо они, животные и растения, суть потенциальные носители разума и уже, быть может, находятся на пути его обретения.

(...) сама утопия Заболоцкого уничтожается внутренним противоречием: благостная мечта о всеобщем вразумлении апеллирует к насилию, что всегда свойственно утопическому сознанию, предполагает выскабливание неразумных ослиных мозгов. Увы, и Заболоцкий не избежал страшных поветрий эпохи».

* * *

Но вопрос ещё и в другом: удалась ли Николаю Заболоцкому попытка вернуть, как он того желал, поэзии науку? Несмотря на всю широту и формальное разнообразие его натурфилософского творчества, его стихи и поэмы этого направления нельзя признать в художественном плане лучшими из того, что написано им. Они уступают и *столбцам*, и поздней лирике.

Вряд ли вообще эта попытка могла получиться удачной. Век уже был другой. У Ломоносова и у Державина, наряду с ещё наивной тогдашней наукой, в поэзии жил – и совершенно естественно – Бог; Творец одухотворял творения поэтов великой внутренней силой. У Заболоцкого же в «наличии» оказалась одна наука, пусть и достигшая определённых высот, но всё равно далеко не совершенная – человеческая, тварная.

В письме к Циолковскому он сетовал на «консервативное чувство», воспитанное веками, которое мешает знанию двигаться вперёд. Однако это, иными словами, религиозное чувство никогда и никому из поистине великих учёных не только не мешало, но помогало в научной работе. (Кстати говоря, недовольство «консервативным чувством», которое с рождения воспитывалось и в нём самом, косвенно отразилось тогда же у Заболоцкого в «Ксениях» (1931) – шуточных экспромтах; в некоторых из них грубовато высмеиваются попы: «Монах Ермил в Великую Субботу / за всенощной ребёночка родил и пр.», «Священник раз напачкал на рубаху и пр.».)

И ещё одно: наука, в чистом виде, была на месте в поэзии древнего мира и вполне естественно в своё время «отпочковалась» от поэзии, потому что ей потребовался свой язык. Потеряла ли от этого поэзия? Думается, нет. Поэзия – особый вид постижения мира, и «доказывается» она не опытом, как наука, а сама собой.

В статье Юрия Колкера о жизни и судьбе поэта по этому поводу сказано резко и коротко:

«Сам Заболоцкий от своих ранних стихов не отказался – не мог отказаться, ибо он-то их прожил, выстрадал, они были его частью, на них покоилась его ранняя известность. Отказаться – значило уж точно сердце пополам разорвать. Лучшей своей вещью он иногда называл футурологическую поэму *Безумный волк* (1931), безумную и пустую по мысли, слабую по исполнению и – поддающуюся пересказу. Всё та же мысль: животные должны очеловечиться, “достигнув полного ума”. В качестве поэтического откровения является волк-вегетарианец, “пекущий хлебы”.

Такие вещи не жизнеспособны не потому, что нарисованная Заболоцким картина вздорна. Любой вздор может стать чудесной поэзией. Ошибка в другом: поэт вообще не должен и не может быть мыслителем (а оригинальный мыслитель – поэтом). Сфера мысли как таковой – философия и наука. (То, что мы в быту называем мыслью, к настоящей мысли – в троюродном родстве.) Поэтическая мысль неотделима от звука и ритма, без них не живёт. Вот этой-то мыслью бедна поэма – и беден весь ранний Заболоцкий».

ВОЗДУХ ВРЕМЕНИ

Говорят, в революцию люди искусства вдохнули наконец полной грудью: кислородное голодание *годов реакции* сменилось-де животворной атмосферой творчества, *пьянящим воздухом свободы* – ну и прочее в таком же духе. (Хотя алхимическое превращение Золотого века в Серебряный, с его авангардом, чрезвычайным разнообразием формальных поисков, свершилось несколько раньше – ещё до 1917 года.) Но вот в начале 1920-х годов самый одарённый и самый чуткий из тогдашних творцов, поэт Александр Блок сказал: «Нечем дышать...» И – погиб.

Что же тогда говорить о *воздухе* начала 1930-х?..

К 1933 году чинарям стукнуло уже по тридцать или около того лет. Недавних бунтарей и возмутителей спокойствия уже давно лишили возможности проводить крупные поэтические вечера; их книг никто не издавал (за исключения полухалтурных поделок для детей). Движение обэриутов почти окончательно заглохло. Едва ли не единственной приметой их присутствия в современной литературе стала обязательная, как чиновничья работа, ругань и травля в газетах и журналах на писательских собраниях – как кого-то из них поодиночке, так и всех вместе. Однако они ещё были нужны самим себе – чтобы сообща думать, знакомить друг друга с новыми произведениями, обмениваться знаниями, острить да и просто суботыльничать.

Встречались чаще всего в доме Липавских. Кроме хозяев: Леонида Савельевича Липавского и его красавицы и умницы жены, Тамары Александровны, основных гостей было ещё пятеро: Даниил Иванович Хармс, Александр Иванович Введенский, Николай Алексеевич Заболоцкий, Николай Макарович Олейников и Яков Семёнович Друскин; порой заходили и другие их общие знакомые. (В «Разговорах», составленных Липавским, эта семёрка обозначалась, соответственно, инициалами: Л. Л., Т. А., Д. Х., А. В., Н. А., Н. М. и Я. С.)

Эти встречи проходили как раз в то безвременье, которое наступило после разгрома различных литературных группировок и роспуска РАППа. Если воспользоваться языком того времени, под знаменем социалистического реализма создавался единый Союз писателей. Остатки прежнего *творческого кислорода* в литературной атмосфере были уже выкачаны – а потому все без исключения стали дышать совсем другой воздушной смесью.

Философ Леонид Липавский, записывавший дружеские беседы, которые впоследствии составили книгу «Разговоры», позволил себе в конце своих записей небольшой монолог. Вот он:

«На что похоже время? Самый этот вопрос кажется странным. Так привыкли мы к тому, что время единственно, всеобъемлюще, ничего подобного ему нет, мы находимся в нём, как в воздухе.

Его и не замечали сначала, как воздух. Но в воздухе есть свои законы сгущения, разряжения, есть его несоответствия с движением человека, ветер. Это позволило его исследовать. И время тоже не однообразно.

Если бы удалось, хотя бы мысленно, выкачать время, поняли [бы], как будет без него.

Мы ощутили [бы] неискоренимое удивление: как это может быть – было и нет. Или всё всегда существует, или ничего и никогда не существует. Очевидно, есть какая-то коренная ошибка, от которой надо освободиться, чтобы понять время. И мы нащупываем среди обыденных вещей те, которые многозначительны, точки, под которыми спрятаны ходы внутрь. Мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает во времени, а состоит из него.

Время похоже на последовательность, на разность и на индивидуальность. Оно похоже на преобразование, которое кажется разным, но остаётся тождественным.

Мы хотим видеть уже сейчас так, как будто мы не ограничены телом, не живём».

И далее:

«На этом кончается запись разговоров. Разговоры происходили в 1933 и 1934 гг. В них участвовало семь человек.

Зачем я предпринял эту неблагодарную работу? И как хватило терпения её довести до конца?

Меня интересовало фотографирование разговоров, то, чего, кажется, никто не делал: я пробовал сохранить слова нескольких связанных друг с другом людей в период, когда связь их стала разрушаться; мне хотелось составить опись собственных мыслей, чтобы знать, что делать дальше».

Время – воздух времени, с его сгущениями и разряжениями, – ветер времени...

Нас, конечно, больше всех интересует в этой книге бесед «Н. А.» – Николай Алексеевич Заболоцкий.

* * *

Сначала друзья высказались о том, что кого интересует?

Заболоцкий ответил: «Архитектура; правила для больших сооружений. Символика; изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления – драка, обед, танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции. Северные народности. Уничтожение французигов. (Под *французиками* Заболоцкий, как поясняет его сын, понимал поверхностных, пустых людей, стремящихся к внешнему блеску – тип грибоедовского «французика из Бордо», особенно неприятный ему. – В. М.) Музыка, её архитектура, фуги. Строение картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы. Доброта – Красота – Истина. Фигуры и положения при военных действиях. Смерть. Книга, как её создать. Кимвалы. Корабли».

Очевиден его повышенный интерес к архитектуре – разумеется, в широком понимании слова. Это, с одной стороны, показывает тягу поэта к эпике, с особой силой проявившуюся в тридцатые годы, с другой – его устремление к владению секретами композиции: поэм и книг. Вообще очень многое завязано у него на стихи: этим объясняется и влечение к символическому, к музыке, к буквам, знакам, цифрам...

♦ Любопытный диалог у поэта произошёл с Липавским:

«Л. Л.: Счастливы вы, что не прекращаете работы и знаете точно, над чем работать.»

Н. А.: Это кажется, что я знаю. А работать надо каждому, несмотря ни на какие обстоятельства.»

Л. Л.: Да, на них следует смотреть, как на неизбежное, может быть, собственное отражение или тень. <...> Но есть другое, что препятствует: ошибка или непоправимое преступление, допущенное ранее. <...>

Н. А.: Вы во власти преувеличений и смотрите внутрь, куда смотреть не стоит. Начать по-новому можно в любой момент, это и будет искупление.»

То есть искупление – в постоянной работе. Так, собственно, он и прожил жизнь...

♦ «Удивительная легенда о поклонении волхвов, сказал Н. А., высшая мудрость – поклонение младенцу. Почему об этом не написана поэма».

Прошло более двадцати лет после этого разговора... В тот день, когда Николай Алексеевич умер, на его рабочем столе нашли листок бумаги с наброском плана:

«1. Пастухи, животные, ангелы...»

Возможно, эту поэму о поклонении волхвов он вынашивал глубоко в себе все эти долгие и очень трудные для него годы, но не успел осуществить в слове...

♦ Заговорили о планере, который, возможно, изобретали и в прежние эпохи, а потом забывали. Потом заговорили о плавании и полёте...

«Н. А.: Я переплыл реку с поднятыми руками! (Он воздал похвалы плаванию: плывущий испытывает радость, недоступную другим. Он лежит над большой глубиной, тихо плывёт на спине, и не боится пропасти, парит над ней без опоры. Полёт – то же плавание. Но не аппаратный. Планер – предвестие естественного полёта, подобного искусству или полётам во сне, об этом мечтали всегда)».

Речь поэта!..

♦ *«3 августа Н. М. и Д. Х. собрались у Н. А. в Эрмитаже. (...) Н. А. говорит: “Поэзия есть явление иератическое”».*

♦ Картинка одной из встреч: друзья обсуждали одновременно несколько тем, а Заболоцкий «писал в это время шуточную оду и сам от удовольствия смеялся».

♦ *«Н. А. прочёл: “Облака”».*

Текст этой поэмы не сохранился. Кто был тогда в доме Липавских и обсуждали ли поэму, неизвестно.

Далее следует лишь общее замечание Леонида Савельевича о сюжете как таковом. Философ считал, что время сюжетов прошло, что теперь ни причинная связь, ни переживания человека по этому поводу не интересны. «Сюжет – несерьёзная вещь. Недаром драматические произведения всегда кажутся написанными для детей или для юношества. Великие произведения всех времён имеют неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой, вроде – я вышел из дому и вернулся домой. Потому что настоящая связь вещей не видна в их причинной последовательности».

Заболоцкий на это возразил: «Но должна же вещь быть законченной, как-то кончатся». «По-моему, нет, – ответил Липавский. – Вещь должна быть бесконечной и прерываться лишь потому, что появляется ощущение: того, что сказано, довольно (...)».

Поэму «Облака», судя по письму к жене от 26 мая 1933 года, Николай Алексеевич начал писать ещё весной. К осени он закончил – и 16 октября прочёл, по-видимому, Даниилу Хармсу. Хармс писал к своей знакомой, К. В. Пугачёвой:

«Мне всегда подозрительно всё благополучное.

Сегодня у меня был Заболоцкий. Он давно увлекается архитектурой и вот написал поэму, где много высказал замечательных мыслей об архитектуре и человеческой жизни. Я знаю, что этим будет восторгаться много людей. Но я так же знаю, что эта поэма плоха. Только в некоторых своих частях она, почти случайно, хороша. Это две категории.

Первая категория понятна и проста. Тут всё так ясно, что нужно делать. Понятно куда стремиться, чего достигать и как это осуществить. Тут виден путь. Об этом можно рассуждать; и, когда-нибудь, литературный критик напишет целый том по этому поводу, а комментатор шесть томов о том, что это значит. Тут всё обстоит вполне благополучно.

О второй категории никто не скажет ни слова, хотя именно она делает хорошей всю эту архитектуру и мысль о человеческой жизни. Она непонятна, непостижима и, в то же время, прекрасна, вторая категория! Но её нельзя достигнуть, к ней даже нелепо стремиться, к ней нет дорог. Именно эта вторая категория заставляет человека вдруг бросить всё и заняться математикой, а потом, бросив математику, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок.

Это та самая неблагоприятная категория, которая делает гения.

(Кстати, это я говорю уже не о Заболоцком, он ещё жену свою не убил и даже не увлёкся математикой.)»).

Очевидно, под второй категорией Хармс подразумевает милую его сердцу иррациональность.

По заметкам Хармса в записных книжках того периода Н. Н. Заболоцкий восстановил в общих чертах то, что было в поэме. Конечно, она примыкала к ряду натурфилософских стихов и поэм, что писал поэт в начале тридцатых. В «Облаках» был создан некий архитектурный ансамбль мироздания и в первую очередь – природы. ««...» действующими лицами были облака (“нестройны, выпуклы, понуры”), речка, крестьяне, пастух и старик, животные, предки, Философ и строитель, вестники. В речке происходило купание, пастух умирал, вестники вели разговоры, открывалось “второго зрения окно”, Философ с кем-то сидел до самого утра...»

Облака рассеялись, так и не долетев до читателя (в 1948 году Заболоцкий уничтожил поэму, текст которой сберегла во время его заключения жена). Возможно, клочки их зацепились в отдельных стихотворениях поэта...

♦ Взволованный и растерянный Заболоцкий...

«Н. А. видел сон, который взволновал его, сон о тяготении.

Н. А.: Тяготения нет, все вещи летят и земля мешает их полёту, как экран на пути. Тяготение – прервавшееся движение, и то, что тяжелей, летит быстрее, нагоняет.

Д. Х.: Но ведь известно, что все вещи падают одинаково быстро. И потом, если земля – препятствие на пути вещей, то непонятно, почему на другой стороне земли, в Америке, вещи тоже летят к земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас.

Н. А. сначала растерялся, но потом нашёл ответ.

Н. А.: Те вещи, которые летят не по направлению к земле, их и нет на земле. Остались только подходящих направлений. <...>

Вселенная, это полый шар, лучи полёта идут по радиусам внутрь, к земле. Поэтому никто и не отрывается от земли.

Он пробовал ещё объяснить свой взгляд на тяготение на примере двух караванов хлеба <...>. Но не смог. И скоро прекратил разговор».

♦ Вся честная компания вдруг «заваливается» в гости к Заболоцким – на пирог..

«Д. Х.: Не хотите ли пойти к Н. А.? Там уже Н. М. и кроме того ещё пирог.

Л. Л.: Не совершить ли нам по пути преступления, иначе говоря предательства.

Д. Х.: Я уже совершил его однажды сегодня, но готов вторично.

И они зашли по дороге в пивную и выпили по кружке. У Н. А. прочёл Н. М. “Похвалу изобретателям”».

Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях:

О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,

Хвала тому, кто предложил

печати ставить в удостоверениях,

Кто к чайнику приделал крышечку и нос. <...>

Бирюльки чудные – идеи ваши – мне всего дороже!
 Они томят мой ум, прельщают взор...
 Хвала тому, кто сделал пуделя на льва похожим
 И кто придумал должность – контролёр!

«Н. А.: Мне нравится. Чего-чего тут нет. Не знаю, хорошо ли “бирюльки”.

Н. М.: Не хочешь ли ты сказать, что много требухи?»

Тут началась особая словесная игра, состоящая в преобразовании, подмене и перекидывании словами по неуловимому стилистическому признаку. Передать её невозможно; но очень большая часть разговоров сводилась в этом кругу людей к такой игре; победителем чаще всего оставался Н. М. На этот раз началось с требухи и кончилось головизной. <...>

Между тем ели пирог и Д. Х. бесстыдно накладывал в него шпроты, уверяя, что этим он исправляет оплошность хозяев, забывших начинить пирог. Потом он стал рассуждать о воспитании детей, поучая Н. А.

Д. Х.: Надо ребёнка с самого раннего возраста приучать к чистоте. И это совсем не так сложно. Поставьте, например, у печки железный лист с песком...

Младенец же спал в это время и не знал, что о нём так говорят. Но Н. А. эти шутки были неприятны».

♦ Обсуждали книгу английского физика и астрофизика Д. Джинса, считавшего, что жизнь на Земле для Космоса – ничтожная подробность, что громадная Вселенная равнодушна ко всякой жизни и даже враждебна ей.

«Н. А.: Книга Джинса мрачная, не дающая ни на что ответа. Поражает страшная пустота Вселенной, исключительность материи, ещё большая исключительность планетных систем и почти полная невозможность жизни. Всё астрономическая случайность, притом невероятная. Чрезвычайно неудобная Вселенная.

Л. Л.: Всё же она показывает, что Вселенная имеет свой рост, рождение и гибель. Она драматичнее и индивидуальнее, чем считали прежде.

Н. А.: Конечно, звёзды нельзя сравнивать с машинами, это так же нелепо, как считать радиоактивное вещество машиной. Но посмотрите на один интересный чертёж в книге, распределение шаровых скоплений звёзд в плоскости Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую фигуру? И солнце не в центре её, а на половом органе, Земля точно семя Вселенной Млечного Пути».

Образный взгляд поэта!..

Изучая труды Вернадского и Циолковского, Заболоцкий находил подтверждение своим догадкам о том, что жизнь на Земле – не случайна, а результат эволюции материи, и Земля распространит разум по всей Вселенной и преобразит её существование.

♦ *«Н. А. (входя): Я меняю фамилию на Попов-Попов. Фамилия двойная, несомненно аристократическая».*

Чтобы оценить эту шутку, вспомним, что за время на дворе. Пора богоборчества, взрывают храмы, в газетах «воинственные безбожники» глумятся над верой; а некоторые граждане предусмотрительно меняют свои старые, поповские фамилии на передовые, советские...

♦ Уроки каллиграфии... (Потом, в заключении, они пригодились в чертёжной работе.)

Заболоцкий как-то копировал с энциклопедического словаря автографы, его товарищи беседовали о музыке – то и дело слышались имена великих композиторов.

«Л. Л. это надоело. Он вспомнил строчки А. В. из автобиографии:

*Гениальному мужчине
Гёте, Пушкин и Шекспир,
Костомаров и Пуччини
Собрались устроить пир.*

*Затем Н. А. играл как всегда в “трик-трак” и напевал несложную песенку:
“Один адъютант имел аксельбант, а другой адъютант не имел аксельбант».*

Безмятежность отдыха среди своих...

♦ Липавский о Заболоцком, в ответ на вопрос Хармса:

«Л. Л.: Его поэзия – усилие слепого человека, открывающего глаза. В этом его тема и величие. Когда же он делает вид, что глаза уже открыты, получается плохо».

♦ Самоирония...

«Н. А.: Я заключил договор на переделку “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Это, пожалуй, даже приятная работа. К тому же я чувствую сродство с Рабле. Он, например, хотя и был неверующим, а целовал при случае руку папе. И я тоже, когда нужно, целую ручку некоему папе».

♦ «Н. А.: Быть бы Я. С. еврейским начётчиком, а он сбился с пути и оттого тоскует».

Ирония?.. добродушная усмешка?.. – поди разбери.

♦ Заболоцкий с Липавским составили таблицу возрастов – от 10 лет до 150.

«Т. А.: Но ведь нормальная длительность человеческой жизни семьдесят лет.

Так, например, считают немцы.

Н. А. (возмущённо): Немцы! У них вообще сплошное безобразие. Так, например, Тельман сидит уже который месяц в тюрьме. Можно ли это представить у нас?.. А деревья живут очень долго. Баобаб – шесть тысяч лет. Говорят, есть даже такие деревья, которые помнят времена, когда на земле не было ещё деревьев.

Л. Л.: А щука? Почему ваши предки не завели себе щуки? У вас в аквариуме плавала бы фамильная щука, напоминая вам о всех живших до вас Агафонах. (Знал ли, нет о том, что деда Заболоцкого по отцу звали Агафоном?.. – В. М.)

Н. А. (взглянув себе на ноги и заметив на коленях заплаты): Когда богатым буду, заменю эти заплаты бархатными; а посередке ещё карбункулы нашью.

Т. А.: Много вам нужно в месяц, чтобы не нуждаться в деньгах?

Н. А.: Тысячу. Первые шесть месяцев жил бы на пятьсот, чтобы выплатить долги, а потом бы в своё удовольствие.

Т. А.: Вы ведь и сейчас живёте, не плачете.

Н. А.: Как сказать, иной раз и зарыдаешь, когда отовсюду разом поднажмут платежи, а платить нечем. Ну, впрочем, чего мы заговорили об этом...»

Н-да, разговорчики...

♦ Заговорили о кончине Андрея Белого.

«Л. Л.: У него был талант, но дряни в нём ещё больше, чем таланта.

Н. А.: Единственная вещь, которую можно читать, это “Огненный ангел”. Да и то, она не его, а Брюсова».

♦ *«Н. А.: Некоторые находят, что у меня профиль и фас очень различны. Фасом я будто русский, а профилем будто немец.*

Д. Х.: Что ты! У тебя профиль и фас так похожи, что их нетрудно спутать.

Н. А.: Чистые типы – это основа; помеси, даже конституций, это дурное человечество».

♦ *Разговаривали о людях.*

«Н. М.: Почему вы, Я. С., не любите Н. А.?»

Я. С.: Люди делятся на жалких и самодовольных; в Н. А. нет жалкого, он важен, как генерал.

Н. М.: Это неверно. Разве не жалок он со всеми своими как будто твёрдыми взглядами, которые он так упрямо отстаивает и вдруг меняет на противоположные, со всей своей путанностью?»

♦ *Туманная запись:*

«(...) спор о том, нужно ли считаться с направлением истории, спор длинный и бесплодный. Н. А. спорил бестолково и с обидами. Он сказал: “Я изложил эти мысли в Торжестве земледелия и удивляюсь, что никто смысла поэмы не понял”. В словах его было нечто неприятное».

♦ *«За водкой.*

Н. А.: Женитесь, Я. С., вы не знаете, как приятно быть женатым».

♦ *«Д. Х.: Я уважаю Н. М., а Н. А. и А. В. люблю. Так, за больным Н. М. я, наверно, не стал бы ухаживать, а за теми стал.*

Т. А.: Бросьте, Д. Х., ни за кем вы не будете ухаживать; ведь вы, чуть кто заболит, всегда бежите прочь».

♦ *О жизни...*

«Н. А.: Я тут познакомился с одним человеком и он мне даже понравился, пока я не узнал, что его любимая картина “Какой простор!” (картина Репина. – В. М.). В этой картине весь провинциализм, неопрятность и бездарность старого русского студенчества с его никчёмной жизнью и никчёмными песнями. А как оно было самодовольно! Осиновый кол ему в могилу...

Знаете, мне кажется, что все люди, неудачники и даже удачники, в глубине души чувствуют себя всё-таки несчастными. Все знают, жизнь – что-то особенное, один раз и больше не повторится; и потому она должна бы быть изумительной. А на самом деле этого нет».

♦ *Сон – это состояние Заболоцкого интересовало всегда, ему посвящено не одно стихотворение...*

«Н. М.: Я видел несколько раз во сне, что умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно, но когда кровь начинает вытекать из жил, уже совсем не страшно и умирать легко.

Н. А.: Мне кажется, я видел даже больше, момент, когда будто уже умер и растекаешься в воздухе. И это тоже легко и приятно... Вообще во сне удивительная

чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюблённость переживаются во сне.

Л. Л.: Бывают и тусклые, неотвязные сны (...).

Н. А.: Когда среди ночи проснёшься под впечатлением сна, кажется, его невозможно забыть. А утром невозможно вспомнить. Но сам тон сна настолько отличается от жизни, что те вещи, которые во сне гениальны, кажутся увядшими и ненужными потом, как морские животные, вытащенные из воды. Поэтому я не верю, что можно во сне писать стихи, музыку и т. п., чтобы потом пригодилось».

♦ Говорили о боли. Даниил Хармс хвалил мудрость йогов, нашедших-де, как правильно жить...

«Н. А.: Верно, и зубная боль чем-то ценна. Ваши йоги самодовольны; это противное занятие – прислушиваться к своим кишкам.

Д. Х.: Если ты будешь ругать йогов, я пририсую к Рабле усы и проходя мимо монголо-бурятского общежития сделаю неприличный жест...

Тут Н. А. вдруг порозовел; он встал и, махнув в воздухе рукой, ни с кем отдельно не попрощавшись, ушёл.

Н. М.: Глупо, глупо ведёт себя; и всегда так, когда с ним спорят. На что обиделся? На то, верно, что когда разговаривал по телефону, Д. Х. назвал его уткой.

Д. Х.: Нет, дело в том, что он сел за диваном, вне общего внимания, ну, ему и стало потом обидно.

(Тут они были неправы: Н. А. не выносил, когда разговор превращался в краснобайство; как раз это послужило когда-то толчком к его разрыву с А. В.)».

* * *

Последние страницы записей Липавского говорят о закате их дружеского сообщества. Встречи всем уже наскучили, противоречия между товарищами только увеличивались. Заболоцкий как-то сказал Липавскому, что они с Олейниковым и Хармсом накануне не беседовали, а только обличали друг друга. Липавский даже не спросил – в чём? Для Заболоцкого это было напрасной потерей времени, к тому же он понимал, что у всех свои интересы: Хармсу, например, «нужен журнал», а ему самому – всего-навсего две комнаты вместо одной, чтобы можно было удобнее работать. Липавский уверял, что жизнь поэта всё же легче, чем его с Друскиным, потому что талантлив и знает что делать, а вот они – подёнщики.

– Мы все живём, как запертые в ящике, – сказал Заболоцкий. – Больше так жить невозможно, при ней нельзя писать.

Наверное, «при ней» – значило не только жизнь обособленной от мира компании, но и вообще жизнь – в обществе, в стране. Однако Липавский этого значения не услышал или же не захотел услышать.

– Я знаю всё это, – ответил он. – Но мы не директора фабрик, для которых одиночество прекращает возможность дела. Все великие волны поднимались всегда всего несколькими людьми. У нас, мне кажется, были данные, чтобы превратить наш ящик в лодку. Это не случилось, тут наша вина.

И перешёл на личности. Введенскому на всё плевать, кроме личных удовольствий; он не скучает лишь за картёжной игрой. Хармс, при всей своей деланной восторженности, глубоко ко всему равнодушен. Друскин деспотичен, «как маниак». А пуще всех виноват Олейников: мог всех сплотить, но от любого дела ускользает в сторону, хочет быть сам по себе.

– Напрасно вы вините их, – возразил Заболоцкий. – Просто люди разные и не было желания грести вместе. Свободы воли ведь нет. Это яснее в искусстве. Надо писать как можно чаще, потому что удача зависит не от тебя, пусть будет хоть больше шансов.

Выслушав слабое возражение собеседника, продолжил:

– К этому всё и сводится: создать условия, дать максимум в искусстве. Ящик оказался плохим помещением, значит, следует его разломать и выйти из него.

И добавил:

– Что ж, компания распадается. Когда у меня в гимназии были товарищи, тоже казалось, неужели я буду без них. Но жизнь всё время создаёт новое. Сейчас дело уже не в компании, сейчас – спасайся, кто может.

Он говорил – о личном творчестве. Скорее всего – о личном. Хотя время было такое, что слова невольно задевали и другие, более глубокие смыслы. Спасать пришлось не только творца в себе, но и свою собственную жизнь – и далеко не каждому из них это удалось...

Своеобразной эпитафией этому распавшемуся сообществу (отдельные дружеские связи при этом не прервались) стало стихотворение Даниила Хармса, посвящённое Николаю Олейникову и написанное, что непривычно для Хармса, классическим размером:

Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
О чём задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гёте глупый грешник,
Тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир.

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
Порой печалит слух, иль вовсе не смешит,
Он даже злит порой, и мало в нём искусства,
И в бездну мелких дел он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
Летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столп?

Далее следовали ещё две строфы, вычеркнутые автором: они напрямую касались их «ящика», не ставшего «лодкой» – или, иначе говоря, их Ноевым ковчегом:

Вот сборище друзей, оставленных судьбою:
Противно каждому другого слушать речь;
Не прыгнуть больше вверх, не стать самим собою,
Насмешкой колкою не скинуть скуки с плеч.

Давно оставлен спор, ненужная беседа
Сама заглохла вдруг, и молча каждый взор
Презреньем полн, копьём летит в соседа,
Сбивая слово с уст. И молкнет разговор.
23 января 1935 года. Д.Х.

И – смолкли их разговоры...

Глава четырнадцатая

ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ

НОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Жизнь не останавливается, даже когда перестают появляться стихи.

Хотя какая это жизнь!.. Для поэта жизнь – в стихах. А без стихов – так, существование... литератора, что ли?..

Поэт живёт во Времени – литератор во времени.

Первое – Нечто; оно никому не известно и не понятно; оно было до жизни и будет после жизни, всегда; оно вмещает в себя всё, что ни есть на Земле и в Небе. Второе – лишь малый отрезок, величиной в ту или иную эпоху (громкое слово, но, по сути, лишь частица Времени). Иными словами: Бытие – и обыденность, Сущее – и существование.

Поэт в человеке – живёт; человек в поэте – существует.

Не нами данный закон – *и ничего не попишешь*...

Столбцы и натурфилософские поэмы Заболоцкого достались большому Времени и небольшому кругу знатоков и ценителей поэзии; времени малому, или его эпохе, не пригодились.

Наверное, Заболоцкий долго не мог поверить, что стране он не нужен. Печать в лице литературных критиков всячески его вразумляла, а он всё не видел в себе никакого контрреволюционера. И, наконец, она таки его вразумила, показав свою действенность: набор второй книги был рассыпан.

Что и говорить, это по нему ударило сильно: как поэт он замолчал.

И потом, спустя довольно долгий срок, явился читателю с непохожими на прежние стихами.

Был ли Заболоцкий действительно *вразумлён* или, по советам друзей и собственному разумению, только сделал вид, что изменился, – вопрос не такой простой, как кажется. Оно известно: *с волками жить – по-волчьи выть*, а коли не выть, так уж хотя бы *подвывать*. Он ведь и сам в своём кругу («Разговоры») усмехнулся над собой, что, как Рабле, *поцеловал руку некоему папе*. А ведь это было ещё до новых стихов, написанных, в отличие от прежних, в традициях поэтической классики. Так, значит, осознал простые истины – что *плетью обуха не перешибёшь* и *насильно мил не будешь*? Ну что делать, если эпохе милы Жаровы и Безыменские. *Не по хорошу мил, а по милу хорош. Сердцу – условного пролетария – не прикажешь*.

...Отвлечёмся немного и вспомним, что власть всегда находит меры воспитания непослушных граждан. Хунвейбины в культурную революцию (Китай, 1960-е годы) поймали пианиста-виртуоза и просто переломали ему пальцы, чтобы не оскорблял *музыку революции* своими буржуазными звуками. На изломе 1920–1930-х годов непослушных в Советской России учила уму-разуму критика в печати и суды – для начала небольшими сроками заключения. Потом, к концу 1930-х, в полном соответствии с теорией нарастания классового борьбы, суды перешли к более радикальным мерам – по принципу: «нэт человека – нэт и проблемы».

Николаю Алексеевичу досталось **всё** (подпиши он в 1938-м обвинения следствия, и нам остался бы только *ранний* Заболоцкий, *позднего* попросту бы не было)...

Этот самый сложный период поэтической судьбы Заболоцкого вмещает в себя несколько лет жизни. От 1933 года, когда была запрещена его вторая книга стихов, до 1938 года, когда поэт был арестован. Что же произошло в это время?

Обстоятельства его *внешней* жизни хорошо известны: редкие публикации, переводческая деятельность (с изданием книг), некоторое участие в делах Союза писателей (собрания, поездки в Грузию), постепенное возвращение как поэта к читателю и даже издание небольшой книжки оригинальных стихов, ну и личное – рождение дочери... А вот что происходило *внутри*, в душе – об этом прямых сведений в общем-то нет, лишь косвенные, и то очень немногие.

К Заболоцкому волей-неволей присматривались внимательно, прежде всего собраты по литературному цеху: фигура!

Обратимся к их свидетельствам.

Евгений Львович Шварц в дневниках слегка подтрунивает над Николаем Алексеевичем, которого в Детгизе прозвали за методичность и степенность *Яшей Миллером*. (Псевдоним, выбранный Заболоцким для детских стишков, в переводе означает мельник: что-то ведь он и сам терпеливо перемалывал в своей жизни...) Однако тут же Шварц раскрывает причину забавного поведения поэта: «Он говорил о Гёте почтительно и, думаю, *единственный из всех нас имел поступки* (как-то не по-русски – имел поступки. – *В. М.*) *Поступал не так, как хотелось, а как он считал для поэта разумным* (курсив мой. – *В. М.*). Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала или как бы полушутя, бранил. <...> А кончилось дело тем, что он строго, разумно и твёрдо поступил: прекратил с ним знакомство».

И далее – в попытке уловить сущность своего друга – поэта и человека:

«<...> Заболоцкий – сын агронома <...> вырос в огромной <...> и бедной семье, уж в такой русской среде, что не придумаешь гуще. Поэтому во всей его методичности и в любви к Гёте чувствовался тоже очень русский спор с домашним беспорядком и распушенностью (странновато представляет себе Шварц кондовую русскую семью, где как раз таки был твёрдый порядок и строжайшие нравы. – *В. М.*) И чудачество. И сектантский деспотизм. Но все, кто подсмеивался над ним и дразнил: “Яша Миллер”, – делали это за глаза. Он сумел создать вокруг себя дубовый частокол. Его не боялись, но ссориться с ним боялись. Не хотели. Не за важность, не за деревянные философские системы, не за методичность и строгость любили мы его и уважали. А за силу. За силу, которая нашла себе выражение в его стихах. И самый беспощадный из всех, Николай Макарович, признавал: “Ничего не скажешь, когда пишет стихи – силён. Это как мускулы. У одного есть, а у другого нет”. <...> При подчёркнуто волевой линии поведения жил он, в основном, как все. Хотел или не хотел, а принимал окраску среды, сам того не зная. И всё же был он методичен, разумен, строг и чист».

«Хотел или не хотел...» – не вопрос. Ну какому поэту захочется приспособиться под «среду»!.. Поэт – вольная птица. И если он принимает защитную окраску, то по крайней необходимости. Ему надо исполнить свой дар, вернуть сторицей – вот его главный долг. А до этого, кроме него, дела нет никому – ни людям, ни эпохе. Чем страшнее век-волкодав, тем безумнее поэт-волк. Другого не остаётся. Как Иван-дурак, летящий на сказочном Змее, он отрубает куски собственного мяса, чтобы скормить кровожадному чудищу: лишь бы долететь! А будет ли там живая вода, затягивающая раны и восстанавливающая изуродованное тело, кто ж знает?..

С повышенным вниманием следила за развитием Николая Заболоцкого ученица Б. Эйхенбаума, филолог Лидия Яковлевна Гинзбург. В очерке «Заболоцкий двадцатых годов» (1973) она вспоминает, как Заболоцкий ответил в 1927 году на вопрос А. Гитовича о своём отношении к Пастернаку: «Я, знаете, не читаю Пастернака. Боюсь, ещё начнёшь подражать». (Заметим, мог и пошутить: к тому времени Заболоцкий уже обрёл свой собственный стиль. Ещё: чтение штука тонкая, опытный

читатель – а Заболоцкий был таковым – предчувствует, какая книга сейчас интересна, а какую лучше пока отложить. Ну и наконец, эдак молодой поэт вообще не читал бы никого – из боязни подражательства...)

«Припоминаю и мой разговор с Заболоцким, но уже лет шесть спустя, в 1933-м, – пишет Л. Гинзбург. – Заболоцкий не боялся уже за свою самобытность, и Пастернака он прочитал, прочитал, но не принял ни Пастернака, ни ряд других старших своих современников. Тогда я с Заболоцким спорила, а теперь понимаю как неизбежна такая несправедливость, как невозможно требовать от писателя всеядности, особенно от молодого, потому что писатель зрелый обычно шире, терпимее, беспристрастнее. Но писатель в процессе становления ищет и берёт то, что ему нужно, иногда совсем неожиданное, на посторонний взгляд неподходящее, и порой нетерпеливо отталкивает то, что не может ему сейчас пригодиться, особенно литературу недавнего прошлого, даже самую высокую. Так, в 1933 году Заболоцкий отвергал Пастернака, Мандельштама. Это бормотание, утверждал он, в искусстве надо говорить определённые вещи. Не нужен и Блок (этот петербургский интеллигент). В XX веке по-настоящему был один Хлебников. Есенин и тот переживёт Блока.

Тогда же мы заговорили о прозе, и Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды».

Гинзбург тонко подмечает: «мир антиценностей» в «Столбцах» Заболоцкого (гротеск, сатирическое обличение «идеалов» мещанства – в этом он сходил с Николаем Олейниковым) внутренне соотносён с истинными ценностями. В его стихах «рядом с разоблачением живёт утверждение – природы, знания, творческой мысли»: «И, утверждая, Заболоцкий, подобно Хлебникову, не боялся прекрасных слов, освящённых традицией».

В пример она приводит стихотворение «Лицо коня» (1926) и отрывок из «Торжества земледелия» (1929–1930), где описывается могила Хлебникова.

Лидия Гинзбург одна из первых заметила, что ранний Заболоцкий прятал своё авторское «я» в серьёзных стихах («Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру»), зато в шуточных экспромтах, как, например, в подаренном ей «Драматическом монологе» (1928), открыто и прямо говорил от первого лица. Она понимала этот приём как «способ освобождения от “старо-давних культур”, от их носителей – всевозможных лирических героев, вообще от обычных форм выражения авторского сознания». Однако отсутствие лирической интонации у Заболоцкого иногда вызывало в ней сопротивление:

«Я сказала однажды Олейникову:

– У Заболоцкого появился какой-то холод...

– Ничего, – ответил Олейников как-то особенно серьёзно, – он имеет право пройти через это. Пушкин был холоден, когда писал “Бориса Годунова”. Заболоцкий – под влиянием “Бориса Годунова”.

Это замечание тогда меня поразило. Есть сопоставления ожидаемые, напрашивающиеся. А есть неожиданные: они приоткрывают в писателе процессы, протекающие на большой глубине.

Разговор о “Борисе Годунове” относится к 1933 году, то есть к моменту, когда для Заболоцкого период “Столбцов” уходил в прошлое».

Разумеется, поэтика *позднего, классического* Заболоцкого возникла не на пустом месте. И вовсе не потому только, что он волевым усилием, в защитных целях решил разом перекраситься, принять цвета окружающей социальной и литературной среды. Поэтическое творчество – процесс чрезвычайно глубокий, таинственный,

– это лишь недалёкие литературные критики решили, что под их воздействием поэт «перевоспитался» и стал писать в традиционной манере.

Да, в начале своего творческого пути Заболоцкий пытался, как он заявлял, взглянуть на предмет «голыми глазами». Отрицал музыку в слове и даже написал себе нечто вроде памятки – «Предостережение» (1932):

Где древней музыки фигуры,
 где с мёртвым бой клавиатуры,
 где битва нот с безмолвием пространства –
 там не ищи, поэт, души своей убранства.
 Соединив безумие с умом,
 среди пустынных смыслов мы построим дом
 и подопрём его могучею колонной
 страдания. Оно своей короной
 послужит нам. <...>
 Будь центром мира. К лжи и безобразью
 будь нетерпим. И помни каждый миг:
 коль музыки коснёшься чутким ухом –
 разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
 над нами посмеётся ученик.

И ещё другое. В своём раннем периоде он как-то не очень различал людей:

<...> я различаю только знаки <...>
 («Подейников», 1932)

Но потом, к середине 1930-х, в поэте произошли перемены – и, повторим, отнюдь не только потому, что его наконец-таки проняла жестокая литературная критика. Просто Заболоцкий становился другим. К нему начала возвращаться *музыка*, а вместо *знаков* из поэтического тумана столбцов и натурфилософских утопий стали проступать человеческие лики.

Подчеркнём ещё одно, не слишком броское обстоятельство. Обычно все отмечают, как резко отличается *ранний* Заболоцкий от *позднего* – будто бы это два разных поэта; или же удивляются, как один и тот же человек смог вместить в себя фактически двух поэтов. Но всё происходило не совсем так. Заболоцкий *натурфилософских стихов и поэм* уже весьма непохож на Заболоцкого *столбцов*. Если разобраться, то и другое – совершенно разные поэтики... Заболоцкий рос и изменялся слишком стремительно – литературная критика за ним не поспевала (да, впрочем, все её заботы состояли совсем в ином – в отслеживании, насколько тот или другой автор лоялен власти).

«Для верного понимания культурной ситуации начала 30-х годов и состояния вдумчивого художника тех лет – а таков и был Заболоцкий – незаменимы записи молодого тогда историка литературы – Лидии Гинзбург, в которых, кстати сказать, неоднократно упоминается и автор “Столбцов”, – пишет Алексей Пурин. – “Из всего запрещённого и пресечённого за последнее время, – записывает она по поводу отвергнутого издательством сборника обэриутов ‘Ванна Архимеда’ (в нём первоначально предполагалось и участие филологов-младоформалистов), – мне жалко этот стиховой отдел. Жаль Заболоцкого. Если погибнет, ‘не вынесет’ этот, вероятно, большой и единственный возле нас поэт, то вот это и будет счёт; не знаю, насколько серьёзный в мировом масштабе, но для русской литературы вполне чувствительный”».

А. Пурин, кажется, жёстче всех остальных исследователей оценивает *позднего* Заболоцкого по сравнению с *ранним*. Тем внимательней следует приглядеться к его доводам.

Для начала приведём его рассуждение о «Столбцах»:

«В “Столбцах” (...) не декларируется (...) синонимичная искусству “мечта”, ежечасно воссоздающая первозданную гармонию мира. Но и Заболоцкий знает – воспользуемся мандельштамовским выражением – “есть музыка над нами”. Только музыка эта в значительной степени вынесена за скобки реальности, поднята на недостижимую высоту над макабрическими (“бenedиктовскими”, пародийными) плясками дольнего мира. (...)»

Реальность (...) неустраимо дисгармонична».

Переход поэта к традиционному стиху А. Пурин объясняет обстоятельствами времени и общественной жизни:

«А потом “жить стало лучше, жить стало веселей”. Я не иронизирую. Просто изменилась сама жизнь – и в общественном, и в сугубо личном для Заболоцкого плане. В 1930 году поэт женился, вскоре у молодой четы появился ребёнок. Иные формы обретает в начале 30-х годов и окружающее эту семью общество: в нём идёт тотальное огосударствление всех структур. В том числе, разумеется, искусства. После “года великого перелома” изменяются отношения между властью и так называемой “творческой интеллигенцией”; политические методы окончательно уступают здесь место администрированию, смертоносные идеологические заигрывания с писателями – не менее смертоносному требованию исполнения дисциплины.

Писатели становятся слоем госслужащих, причём достаточно привилегированным. Перед художниками как бы ставится выбор – самоотверженно служить государству, которое к тому же в силу устойчивых интеллигентских иллюзий кажется ещё инструментом возвышенной социальной справедливости и венцом общественного развития, или – быть исключённым из литературы, уйти в подполье самовыражения, художественно люмпенизироваться, стать дилетантом».

Всё так – но в общих чертах. В русской литературе диктат власти, идеологии ощущался и в предыдущие века, хотя, конечно, далеко не с такой навязчивой силой и беспощадностью. Но писатели всё же не государственные служащие, по крайней мере, не столь дисциплинированы – ведь музы своевольны и капризны. У настоящего писателя не служба – но служение. А *служенье муз не терпит суеты* – как не терпит и насилия. Да ещё среди них во все времена бывали и такие, кто жил по пушкинскому завету: «Веленью Божию, о муза, будь послушна!...» – чем бы ни приходилось расплачиваться в жизни за своё неподневольное творчество. Они не то чтобы сознательно писали *в стол* – но так получалось, что их произведения, отвергнутые временем, поневоле оказывались *в столе*. Не потому ли некоторые из лучших писателей советского периода предстали перед читателем в своём полном, истинном виде лишь спустя десятилетия, в ту пору, когда сменился режим. Среди них, кстати говоря, был и Николай Заболоцкий...

Но продолжим цитату из статьи А. Пурина о поэте:

«Задача эта не имеет правильного решения. В своё время попытка разрешить аналогичную дилемму привела Пушкина к гибели. Найти средний путь, отыскать независимую “вакансию поэта” не смогли и умнейшие люди России первой трети XX века – Мандельштам и Пастернак, самоубийственно шарахавшиеся из стороны в сторону. Приходится, однако, признать, что только такое шараханье в безвыходной ситуации соответствует замыслу о человеке, а оба пути, предлагаемые тотальной властью, – художественно и этически паллиативны. И столь же губительны. Забо-

лоцкий вышел из этой безвыходной ситуации вправо, его друзья – Введенский и Хармс – влево, но все они оказались на гибельных и паллиативных путях».

А вот – о поэтической форме, вольно или невольно избранной Заболоцким:

«Диалектичность, наукообразие, “философичность” поэзии Заболоцкого 30-х годов – совершенно того же происхождения; это своего рода Хлебников, загрированный под Фридриха Энгельса, – псевдорационализация одной утопии посредством другой. Перекрёсток утопий».

Ничего не скажешь: про Хлебникова в гриме Энгельса – метко и остроумно!.. Но насколько этот образ отвечает истине? Вынужденно ли обратился Заболоцкий к традиционному стиху или же, зрелым мастером на новом творческом этапе, заново открыл для себя его, традиционного стиха, возможности? Вряд ли кто-нибудь может верно ответить на этот вопрос.

И Алексей Пурин прекрасно понимает это:

«Вопрос о том, “вынес” ли этот поэт, единственная надежда “потерянного поколения”, паллиативный путь государственного писателя, путь призрачного благополучия – с периодическими журнальными публикациями, после которых следуют критические проработки и авторские покаяния; с “общественной работой” в Союзе писателей и литфондовской квартирой; с творческими командировками в Тавриду и на Кавказ – эти отдушины для русской лиры в имперские времена; с двусмысленными грузинскими переводами; наконец – со “Второй книгой”, всё-таки вышедшей в свет, но – как тогда часто случалось – едва ли не накануне ареста, – вопрос этот мы оставляем открытым...»

Вернёмся к этому «вопросу» чуть позже, а пока вспомним несколько подробнее о том, как жил поэт на очередном переломе времён...

В СЕРЕДИНЕ ТРИДЦАТЫХ

Товарищ Сталин в юности был поэтом, и порой, в переходные моменты истории, это сказывалось в нём; так, в 1924-м, на похоронах Ленина, он выдал нечто, напоминающее стихи: «Помните, любите, изучайте Ильича – нашего учителя, нашего вождя!»

Свою крылатую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее!» Сталин произнёс в самой середине тридцатых годов, по завершении коллективизации на селе.

Народ тут же добавил: «Шея стала тоньше, но зато длиннее».

Тридцатилетнему Николаю Заболоцкому, как и всем в те годы, приходилось нелегко. Но, вдрызг разруганный за «Торжество земледелия» литературной критикой, он отнюдь не унывал, а крепко, широко и основательно выстраивал свою поэзию и обустроивал семейную жизнь. Конечно, он хорошо понимал и остро чувствовал, к чему могут повернуть события, происходящие в стране, да и звоночки уже были – аресты и ссылки друзей-обэриутов (которым, впрочем, вскоре смягчили наказание), однако сдаваться не желал, держал себя как ни в чём не бывало, не признавая за собой никаких грехов перед государством, тем более перед литературой.

Энергии в нём ещё было с избытком, и запас бодрости не иссяк. Об этом можно судить по настроению, в котором написано одно сохранившееся письмо лета 1933 года, приведённое Тamarой Липавской в её воспоминаниях о поэте:

«В начале 30-х годов мы с Леонидом Савельевичем жили на Гатчинской улице, летом я уехала в деревню и получила от Николая Алексеевича письмо с приклеенной к нему фотографией очень скромного Николая Алексеевича с гладко причёсанными волосами:

“12.VII.33

Дорогая Тамара Александровна!

Я долго ждал... Так долго, что на моём месте будь кто другой – я не ручаюсь, что бы с ним стало! Да-с! Я ждал почти месяц! Многое прошло перед моим внутренним взором за этот месяц! С тайной надеждой я заходил несколько раз к Л. С., и едва лишь дверь открывалась передо мной, как я, расталкивая хозяев, зверем бросался в вашу комнату, направляя свой взор на стенку, или, вернее, – нацеливался глазом на стенку, и тут же падал на диван, с криком отчаянья. Да-с! Мой портрет всё ещё висел там!!! Тщетно расспрашивал я Л. С. – не было ли от вас спешной депешки – выслать портрет с нарочным – нет, нет и нет! Не было такой депешки!

Как я должен был отнестись к такому явлению? Как должен был его объяснить, истолковать или, как говорят учёные, дезавуировать? Может быть, моя дикая испанская красота уже потеряла свою власть над вашим духом? Этому поверить не могу, ребёнок и тот поймёт, что этого не могло случиться. Может быть, какая-нибудь случайная интрижка на несколько мгновений покрыла флёром полузабвения мой образ? Нет, нет, нет! Не таковский я человек, чтобы из-за интрижки оказаться под флёром. Я ещё сам вполне могу покрыть флёром любого! Может быть, какое-нибудь случайное недомогание, – например, ухудшение слуха, или временное окривление, (т. н. ячмень), или растяжение сухожилия, или, не дай бог, какая травма – на момент затушевали в вас память о дорогом лице? Нет, нет и нет! Во-первых, я ещё и сам могу кого угодно затушевывать, а во-вторых, по нашим сведениям, вы живы и здоровы и никакая травма вам не оказала неприятностей.

Таким образом всё обсудив и обдумав, я пришёл к твёрдому заключению, что всё это с вашей стороны не более как кокетство, свойственное женщинам с момента сотворения земли (учёные до сих пор ещё не установили, когда произошёл этот момент, – sic!) и до более поздних исторических времён. История даёт нам много примеров, как кокетничали древние римлянки, карфагенки, гречанки, галлки и германки, – но, увы, такого лютого, такого сногшибательного и упорного кокетства, как ваше, – ещё не бывало никогда! Возьмите Тита Ливия, возьмите Геродота – где вы его там найдёте? А вы? В течение целого месяца скучая по незабвенным чертам дорогой вам личности, вы о том даже не намекаете никому, как бы желая испытать меня – как я сам отнесусь к такому факту. О, я вполне раскусил вас! Вы принадлежите к тому типу женщин, которые по-французски назывались “ploutovka”.

Но я, как видите, не таковский, и очень всё хорошо понимаю, что к чему, и поэтому далёк от всяких т. н. эксцессов, т. е. проявлений; я тонко разобрался в психической и индивидуальной игре вашего “Я”, а потому, желая привести ваше “Я” в состояние гармонии, вторично посылаю вам свои незабвенные черты. Пусть они украсят собою скромную обстановку вашего дома, пусть лучи, льющиеся из моих очей, непринуждённо порхают над незатейливым убранством его, т. е. дома. Об одном молю – не показывайте мой портрет доверчивым поселянкам, – их неопытное сердце может быть жестоко разбито моими дорогими чертами. Вглядитесь, взгляните в них, т. е. в черты, дорогая Тамара Александровна! Какая роскошная, чисто восточная нега разлилась тут от края до края! Подобно двум клинкам направляется этот взор прямо в сердце! Сколько грации и непринуждённой красоты в этой непокорной шевелюре небрежно отброшенных волос! А нос? Боже мой, что это за нос! Клянусь, сам Соломон не отказался бы от такого носа! Итак, дорогая Тамара Александровна, глядяваясь ещё и ещё раз в эти перечисленные черты, переживите ещё и ещё раз то чувство внутреннего психологического удовлетворения, которое очень поможет вашему “Я”, очень его обогатит и в незатейливом убранстве вашего дома может сослужить очень и очень хорошую службу, ибо это

незатейливое убранство, заключая в себе такой дикий алмаз, само по себе окажется также драгоценным.

Карточек Тынянова и Грабаря не посылаю, да и к чему они, когда есть эта?
До свиданья, до свиданья!
Ваш Н. Заболоцкий»).

1933-й – последний год *раннего* Заболоцкого: натурфилософские стихи и поэмы которым, казалось, не будет конца – так слитно, мощно и полно они вырывались наружу, рисуя воображаемую поэтом картину мира и жизни, вдруг иссякли в нём или же, скорее, он, в поисках новой формы самовыражения, запретил их себе. Весь 1934 год – без стихов, если не считать наброска к поэме «Людейников» и «заказного» рифмованного отзыва на гибель Кирова. Но без стихов, вероятно, истаивало и то свойственное ему по молодости бодрое настроение...

Зато бытовая жизнь налаживается: молодая семья впервые обзавелась собственной квартирой. Небольшой – две комнаты да кухонька, но в центре Питера – на канале Грибоедова. Место красивейшее: рядом, весь словно бы в драгоценных каменных узорах, с разноцветными куполами храм Спаса на крови, в двух шагах Невский проспект, Казанский собор с просторной колоннадой, Дом книги, где располагался Детгиз.

Среди соседей семьи Заболоцких по кооперативному писательскому жилью в надстройке дома № 9 ближайшие друзья: Каверины, Шварцы, Олейниковы, Гитовичи, тут же хорошие знакомые поэта: Зоценко, Эйхенбаум, Томашевский, Тагер и другие.

Домашнюю библиотеку Николай Алексеевич подобрал с редкой выскательностью: Пушкин, Тютчев, Боратынский, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, Бунин, Гёте, Байрон, Шекспир, Шиллер, Мольер, Библия, мировой эпос и «многое другое». Как видим, основой библиотеки «авангардиста» была – да и не могла не быть – классика. Малыша сына отец частенько забавлял чтением стихов. Брал, к примеру, том Алексея Константиновича Толстого и декламировал с выражением:

Ходит Спесь надувающимись,
С боку на бок переваливаясь...

При этом Николай Алексеевич непременно с важностью изображал походку Спеси...

По вечерам поэт любил в кругу семьи напевать под гитару народные песни, стихотворение Есенина про «соловушку», слушать граммофонные записи Шаляпина, Собинова, Вяльцевой.

Как обычно, Заболоцкий много трудился: в работе он всегда видел своё искупление, какой бы ничтожной ни казалась очередная тема перед этим громким словом. Но всё же теперь это большей частью была работа не поэта – литератора. То бишь литературные поделки: переводы, переложения для детей зарубежной классики... Словом – заработок...

Никита Николаевич пишет о жизни семьи и о себе – в третьем лице:

«Переводческая работа приносила неплохие гонорары – в дом пришёл достаток. За обеденным столом в рабочей комнате нередко стали собираться друзья, благо многие из них жили в том же доме. Для ухода за часто болевшим сыном в семью взяли няню по имени Саша – добрую, тихую женщину, которая помогала Екатерине Васильевне. В то время многие сельские молодые женщины, спасаясь от тяжёлой, голодной жизни в деревне, приезжали в город в поисках работы, и домработницу найти было легко, их имели даже не очень обеспеченные семьи»).

Он приводит обычную бытовую записку, которую написал отец к матери, попавшей в больницу (конец 1934 года):

«У нас всё благополучно. Вчера вечером с Никиткой играли (тихо), потом он гулял с Сашей один час, потом уложили спать. <...> Сегодня утром гулял полтора часа, кушал, смотрели с ним немецкую книгу, чем он очень увлечён. Сейчас пообедаем и пошлю его с Сашей гулять. <...> Заходила молочница, которой отдал 1 рубль. Всё поджидаю денег из Москвы, но не могу дожждаться. Вчера Олейников получил по моей просьбе пропуска, продуктовый и промтоварный. Пропуск – в ЗРК писателей (закрытый распределитель кооператива), одну карточку прикрепил там... Никитушка пришёл, спрашивает: “Ты пил лекарство?”».

Разумеется, воспоминания эти во многом ещё не свои собственные, а составлены по рассказам матери. По вечерам отец нередко навещался в гости к Шварцам и Олейниковым – там в застолье было шумно и весело: приятели шутили, пели, слушали пластинки, даже танцевали. Но куда как больше поэт любил в пивной на Невском тихо беседовать за кружкой пива с художником Петром Ивановичем Соколовым. В квартире Гитовичей висела одна его картина, которая очень нравилась Заболоцкому, изображавшая мужичка с бородкой, едущего по лужайке на велосипеде.

Кто знает, может, вид этого безмятежного мужичка, что неслышно катит на колёсах по траве, под греющим солнцем, вдали от суеты, среди природы, и был настоящей мечтой, отрадой литератора, которому не давали возможности быть поэтом...

Ведь литературные враги никуда не делись, не перевелись, хотя Заболоцкий как поэт – молчал. Критики если и не клевали, как прежде, то не забывали, поклёвывали.

На Первом съезде советских писателей (август 1934 года) в основных докладах о Заболоцком не было ни слова. Но, выступая в прениях, А. Безыменский не упустил возможности снова его «разоблачить»:

«В стихах типа Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим сплошное противопоставление “единой” деревни городу, воспевание косности и рутины при охаивании всего городского – большевистского – словом, апологию “идиотизма деревенской жизни”.

Гораздо более опасна маска юродства, которую надевает враг. Этот тип творчества представляет поэзия Заболоцкого, недооценённого как враг и в докладе т. Тихонова.

Дело вовсе не в “буксовании жанра”. Под видом “инфантилизма” и нарочитого юродства Заболоцкий издевается над нами, и жанр вполне соответствует содержанию его стихов, их мыслям, в то время как именно “царство эмоций” замаскировано.

Стихи П. Васильева в большинстве своём поднимают и красочно живописуют образы кулаков, что особенно выделяется при явном худосочии образов людей из нашего лагеря. Неубедительная ругань по адресу кулака больше напоминает погрёк. В сами образы симпатичны из-за дикой силы, которой автор их наделяет.

И Заболоцкий, и Васильев не безнадёжны. Перевоспитывающая сила социализма беспредельна. Но не говорить совершенно о Заболоцком и ограничиваться почтительным упоминанием и восхищением талантивостью и “нутром” Васильева невозможно. Тем более это невозможно, что влияние Заболоцкого сказывается на творчестве Смелякова и даже в некоторых стихах такого замечательного и родного нам поэта, как Прокофьев».

Итак, самые яркие поэты из молодых – Заболоцкий и П. Васильев – *враги* (разумеется, Безыменский не забыл лишний раз кольнуть П. Васильева цитатой

из недавней статьи М. Горького: «от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа», которой основоположник соцреализма огульно заклеил того в печати).

Дмитрий Кедрин, послушавши эту речь столь же бездарного, сколь и «активного» рифмоплёта, сочинил эпиграмму:

У поэтов жребий странен,
Слабый сильного теснит:
Заболоцкий безымянен,
Безыменский – именит.

Никак не мог успокоиться и другой *скверноподданный*, критик Ан. Тарасенков. В статье «Графоманское косноязычие» («Знамя», № 1, 1935) он, явно следуя речи Безыменского, ставил в вину Заболоцкому его влияние на поэтическую молодёжь.

Ну, а под чьим же влиянием могли бы оказаться начинающие сочинители – Безыменского, что ли?.. Его художественные достоинства Маяковский в известном стихотворении, в отличие от настоящих поэтов («мы крепки, как спирт в полтавском штофе»), сравнил с «морковным кофе». Зато уж в *текущей политике* этот комсомольский поэт впереди паровоза бежал. Так, выступая на съезде Советов – после массового голода и гибели миллионов крестьян, говорил: «Товарищи, кулацкая Расеюшка-Русь не скоро сдастся, ибо успехи наши, успехи Союза ССР будут измеряться степенью ликвидации образа того врага, которого заключает в себе “Расеюшка-Русь”».

Мало того, что крестьян – основу страны – физически уничтожали, так ещё надо было лишить их образа своей Родины – России.

Разумеется, и стихи свои прочитал:

Расеюшка-Русь, повторяю я снова,
Чтоб слова такого не вымолвить век.
Расеюшка-Русь, распроклятое слово
Трёхполюя, болот и мертвеющих рек.

Заболоцкий хорошо понимал: уж кто-кто, а эти конвойные овчарки от него не отстанут...

...В то время его однажды поразил вид замерзающей речки. Случилось это близ дачи, где жила жена с ребёнком. Вот как описывает это Никита Заболоцкий:

«Как-то поздней осенью накануне выходного дня Николай Алексеевич приехал на Сиверскую раньше, чем обычно. Екатерина Васильевна попросила его погулять с сыном. Он не любил гулять без цели, но с маленьким Никитой гулял с удовольствием. Взяв на руки мальчика, спустился с пригорка и через заднюю садовую калитку вышел к реке. Долго смотрел на тёмную воду, по которой уже плыли чешуйки прозрачного льда. Река замерзала, и ему показалось, что перед ним умирает разумное существо. Более того, он остро почувствовал, что уловил отобразившийся в замерзающей речке отблеск внечеловеческого сознания природы. Когда уже в сумерках он вернулся домой, жену поразило его просветлённое и торжественное лицо – он был полон ощущения причастности к великой тайне жизни. Впечатление было настолько сильным, что он долго помнил его и через три года описал в одном из самых любимых своих стихотворений – “Начало зимы”:

Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза простучало.

Я встал и вышел. Острый, как металл,
мне зимний воздух сердце спеленал,
но я вздохнул, и, разогнувши спину,
легко сбежал с пригорка на равнину, –
сбежал и вздрогнул: речки страшный лик
вдруг глянул на меня и в сердце мне проник...».

Однако в этом описании, сделанном со слов матери, на наш взгляд, особенно ценно другое: редкий миг запечатлённого вдохновения. Не часто он заметен посторонним, даже если они приходится близкими поэту. Вполне возможно, что Заболоцкому тогда на прогулке, действительно, почудился в замерзающей реке отблеск какого-то сознания, и, вернувшись взволнованным, он рассказал об этом жене. Но видение трудно поддаётся пересказу. И вполне ли поняла молодая женщина глубину образа, из которого потом родилось стихотворение? Ведь «внечеловеческое сознание природы» словно бы приоткрыло тогда Заболоцкому и его будущую поэтическую судьбу. Об этом говорит слишком много подробностей: «страшный лик» речки; то, что она чует свой «смертный час», «умирает», и вместе с холодеющей водой застывает само «сознание природы»:

И уходящий трепет размышленья
я, кажется, прочёл в её глухом томленьи,
и в выраженье волн предсмертные черты
вдруг уловил, и если знаешь ты,
как смотрят люди в день своей кончины, –
ты взгляд реки поймёшь. Уже до середины
смертельно почерневшая вода
чешуйками подёргивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,
ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
смотрели с ёлки прямо на меня.
И я ушёл. И ночь уже спустилась.
Крутился ветер, падая в трубу.
И речка, вероятно, еле билась,
затвердевая в каменном гробу.

Написанное в 1935 году – во время его собственного безмолвия – это стихотворение, конечно же, в первую очередь, о себе, о *реке его стихов*, загнанной стужей в каменный гроб молчания. И кто знает, надолго ли эта зима? Пока ясно одно:

...и ночь уже спустилась...

Хотя конца этой зимы не предвиделось, Заболоцкого всё же не покидала надежда на полноправную жизнь в литературе. Он понял: той свободы поэтической формы, что была прежде, ему уже в печати не дадут. Но как жить – не печатаясь, не издавая книг? Это всё равно, что быть заживо погребённым... Ведь поэт печатает стихи отнюдь не только из желания славы, как обычно думают, или же в расчёте на гонорар («Не продаётся вдохновенье, / Но можно рукопись продать...»), как и в шутку и всерьёз заметил Пушкин). У поэта перед стихами особый долг. Стихи как

рождённые дети... Если стихи не напечатаны, не обнародованы, то они – вроде бы незаконных детей... Какой же отец – враг своему ребёнку? По выходе в свет, то есть по напечатании, стихи начинают свою собственную жизнь и – освобождают поэта для его дальнейшей творческой жизни. Ну, и кроме всего прочего, вспомним формулу Боратынского: «Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех его скорбей...» – Понимание всего этого присуще поэту, – и чувствуется без слов – постоянно, глубоко и остро...

И тут вторая по значимости газета страны – «Известия» – попросила у Заболоцкого новые стихи. Это было в ноябре 1934 года. Недавно прошёл Первый съезд советских писателей, на котором выступал с речью и редактор «Известий» Николай Иванович Бухарин, раскритиковавший там, кстати, комсомольских поэтов. В недавнем прошлом Бухарин был одним из вождей большевиков, – газета, пусть и центральная, после тех высот, конечно, была для него ссылкой. Он стал опальным из-за разногласий с политбюро и Сталиным по вопросам коллективизации. К художественной литературе «любимец партии» (как звали «Бухарчика» в двадцатые годы) вообще-то отношения не имел, но это, разумеется, ни прежде, ни теперь нисколько не мешало ему руководить писателями, поучать, направлять на большевистский путь. Впрочем, он баловался стихотворчеством, считал себя интеллектуалом, «покровителем искусства» и ещё недавно соперничал в этом с Троцким. Конечно, для каждого из них главным было одержать верх в партийной борьбе – литература являлась лишь одним из видов полемики. Троцкий в двадцатые годы «поддерживал» Есенина – в попытке извлечь из поэта пользу для партийного дела; Бухарин же, в противовес, облил Есенина и «есенинщину» самой непотребной грязью в своих «Злых заметках» – причём сделал это в 1927 году, через два года после гибели поэта. Поскольку к 1934 году «Иудушка-Троцкий», он же «демон революции», был уже выслан из СССР, «любимец партии» стал снисходительней к творчеству Есенина и даже поставил его в своей речи рядом с Блоком и Брюсовым.

С чего бы это Бухарин решил поддержать Николая Заболоцкого? Ведь публикация в центральной газете значила, что молодой поэт, которого уже несколько лет склоняли в печати как *врага*, политически благонадёжен и, кроме того, имеет вес в литературе. Вряд ли это было обычным покровительством: слишком одиозную фигуру контрреволюционера, «кулацкого поэта» вылепила литературная критика из Николая Заболоцкого в предыдущие годы. Скорее всего, Бухарин выражал таким образом своё *особое мнение*, скрыто полемизировал с властью.

18 ноября 1934 года «Известия» напечатали стихотворение Заболоцкого «Осенние приметы», написанное в 1932 году в классической манере.

Через две недели, 1 декабря, в Смольном был застрелен глава Ленинградской парторганизации С. М. Киров.

«Особенно тяжёлое впечатление это событие произвело на ленинградцев, – пишет Никита Заболоцкий. – Многим уже тогда было ясно, что всякое политическое убийство на руку тем, кто раздувает опасность якобы обостряющейся классовой борьбы, стремится навязать стране чрезвычайные меры и ещё более упрочить абсолютную власть Сталина. Подозревали, что в убийстве замешано ОГПУ, недавно преобразованное в НКВД, и в страхе ждали “ответных” репрессивных мер. О том, что Киров убит по личному указанию Сталина, в то время вряд ли кто-нибудь осмеливался даже думать».

Может, кто-то и не осмеливался, но тогда же стала ходить в народе злободневная частушка:

Огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике.

По некоторым версиям, её сочинил и запустил в публику ни кто иной, как Н. И. Бухарин. Да и само покушение на Кирова – дело такое тёмное, что в нём до конца ни тогда, ни позже не разобрались, а теперь уж тем более не разберутся. Сталин ли «заказывал» Кирова, происки ли это Троцкого или же всё произошло «на бытовой почве» – всё так и осталось невыясненным. Причина одна: убийца и все прямо или косвенно причастные к его задержанию и допросу – сразу или очень скоро поголовно погибли при странных обстоятельствах. Тотальная зачистка всех возможных свидетелей!.. Такого история политических убийств, кажется, даже и не знала. Американцы со своим убийством президента Джона Кеннеди – дети с их детскими тайнами, как прятать концы в воду, – в сравнении с тем, что произошло в Ленинграде в 1934 году...

Но продолжим цитату из книги биографа поэта:

«Заболоцкий опасался, что ожидаемые репрессии могут задеть и его, – слишком часто он публично назывался “врагом”. И тут 2 декабря снова раздался телефонный звонок из “Известий”: ему предложили срочно написать стихотворение, посвящённое памяти Кирова. Николай Алексеевич воспринял этот заказ как заботу о нём главного редактора Бухарина, поскольку немедленный отклик в центральной газете на убийство в определённой степени застраховывал от возможных неприятностей. Подобных стихов ему писать ещё не приходилось, а тут и срок был ограничен – материал следовало представить в ленинградское отделение газеты до 12 часов дня 3 декабря».

Сергей Миронович Киров (Костриков) приходился Заболоцкому земляком по Уржуму, – вот и всё, что было общего у политика и поэта. Знакомы они не были, разве что Николай что-то слышал про Кирова (довольно одобрительное) из уст своего товарища, В. П. Матвеева. Со стихотворением, названным «Прощание», он кое-как к сроку справился, и 4 декабря оно появилось в «Известиях».

Сын пишет в своей книге, что поэт был «ободрен вниманием» центральной газеты и вновь принялся за поэму о Лодейникове. Так и было: «Лодейников в саду» – самое значительное из немногих стихотворений того времени – датировано декабрём 1934 года и мартом 1936 года. Но поэму о Лодейникове, в котором легко угадывается сам автор, Заболоцкий вскоре забросил, да так никогда и не закончил.

За целых пять лет – с 1934 года до ареста в 1938 году – Николай Алексеевич Заболоцкий написал всего-то десятка полтора-два стихотворений. *Река его поэзии* замерзала, как по осени речка на Сиверской, – и замёрзла потом в неволе на целых восемь лет.

...Сделаем небольшое отступление, чтобы лучше представить то время, его мертвеющие реки и безжизненный воздух.

Сорок лет спустя, в 1974 году, московское издательство «Художественная литература» напечатало «Избранное» Анны Ахматовой с её «Поэмой без героя». В конце второй части поэмы автором обозначено:

«3-5 января 1941

Фонтанный Дом, и в Ташкенте, и после».

Видимо, это дата окончания второй части. А писалась и дописывалась эта часть, вероятно, и в конце тридцатых годов в Ленинграде, и в ташкентской эвакуации. Но книга 1974 года оказалась изрядно отредактированной в издательстве. К примеру, строфа X второй части выглядела так:

X

.....

 И проходят десятилетия:
 Войны, смерти, рожденья – петь я,
 Сами знаете, не могу.

Странновато для Ахматовой: уж кто-кто, а она – могла *петь!*..

На самом деле в этой строфе первые три строки были заменены точками, а вторые три строки – просто кем-то (явно не автором) переписаны. Эта строфа звучала так (курсивом выделено «бесследно отредактированное»):

X

Враг пытал: «А ну, расскажи-ка!»
Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать её врагу.
 И проходят десятилетия:
Пытки, ссылки и смерти – петь я
В этом ужасе не могу.

Понятно, всё это – о 1937–1938 годах, годах репрессий, когда у Анны Андреевны арестовали сына, Льва Николаевича Гумилёва.

А далее за строфой X следовали ещё две строфы, вообще убранные редакторами и даже не обозначенные точками:

XI

Ты спроси у моих современниц:
 Каторжанок, стопятниц, пленниц –
 И тебе порасскажем мы,
 Как в беспамятном жили страхе,
 Как растили детей для плахи
 Для застенка и для тюрьмы.

XII

Посинелые стиснув зубы,
 Обезумевшие Гекубы
 И Кассандры из Чухломы,
 Загремим мы безмолвным хором,
 Мы, увенчанные позором.
 По ту сторону ада мы.

Этим же воздухом дышал тогда и Николай Заболоцкий.

Он тоже – *в этом ужасе – не мог петь*, точнее – почти не мог..

Конечно, пытался писать – и даже рассчитывал напечатать новые стихи. Так, после «Начала зимы» сочинил ещё вдобавок «Весна в лесу» (1935) и «Засуху» (1936). «Осень» («Осенние приметы») – уже было написана ранее. Эдакие *Времена года* – с ушедшей на глубину и еле заметной натурфилософией. Но если «Весна в лесу» – безмятежная и светлая зарисовка, то в «Засухе» вновь появляются мотивы *замерзающей реки*, – только выжжена она уже не стужей, а жарой:

*В смертельном обмороке бедная река,
чуть шевелит засохшими устами <...>.*

И тут напрямую – крайне редкое для него явление!.. – сказано о себе, о своей душе:

*Но жизнь моя печальней во сто крат,
когда болеет разум одинокий,
и вымыслы как чудища сидят,
поднявши морды над гнилой осокой.
И в обмороке бедная душа,
и как улитки движутся сомненья,
и на песках, колеблясь и дрожа,
встают как уголь чёрные растенья.*

Должно быть, Заболоцкий, как и Ахматова и другие, писал в ту пору и что-то неподцензурное, однако до нашего времени не дошло ни строки. И до и после ареста ничего хранить в доме он не мог: найдут при обыске. Опасных рукописей никому не отдал бы на хранение – чтобы не подставить человека. Надёжного хранилища – тоже не нашлось. Никита Заболоцкий сообщает в своей биографии лишь об одном случае подобного опыта:

«Но хоть как-то выразить свой внутренний протест очень хотелось. В один из дней только что наступившего 1938 года Николай Алексеевич позвал жену к себе в комнату, плотно закрыл дверь и дал ей прочитать своё стихотворение, в котором говорилось об их страшном, гнетущем времени, о зловещем “Большом доме” с башенкой на крыше, о его светящихся больших окнах и мрачных застенках, где томятся невинные люди. Обо всём этом знали, но говорить и тем более писать не решались.

– Вот теперь слушай, – сказал Николай Алексеевич, когда жена кончила читать, – я тебе прочитаю другое стихотворение, в котором те же первые слова в строке и та же рифма, что в том.

И он прочитал невинное стихотворение о природе.

– По строчкам этого стихотворения я всегда смогу восстановить то, крамольное. Ведь настанут же когда-нибудь другие времена!

Сказав это, он взял из рук жены опасное стихотворение, отнёс его на кухню и бросил в огонь топящейся плиты.

– А теперь забудем о том, что там было написано».

Так и сгорело это стихотворение – и осталось никому никогда не известным.

* * *

У друзей Заболоцкого тоже не сохранилось «опасных стихов», да, может, их и вовсе не было?..

Николай Олейников лучше всех понимал – что к чему. Но молчал на эту тему. Даниил Хармс как-то попытался написать, но не закончил...

*Гнев Бога поразил наш мир.
Гром с неба свет потряс. И трус
Не смеет пить вина. Смолкает брачный пир,
Чертог трещит, и потолочный брус
Ломает пол. Хор плачет лир.*

Трус в трещину земли ползёт как червь.
 Дрожит земля. Бег волн срывает вервь.
 По водам прыгают разбитые суда.
 Мир празднует порока дань. Сюда
 Ждёт жалкий трус, укрыв свой взор
 От Божьих кар под корень гор, и стон,
 Вой псов из душ людей, как сор
 Несёт к нему со всех сторон –
 Сюда ждёт жалкий трус удар,
 Судьбы злой рок, ход времени и пар,
 Томящий в жаркий день глаз, вид зовущий вновь
 Зимы хлад, стужами входящий в нашу кровь.
 Терпеть никто не мог такой раскол небес
 Планет свирепый блеск, и звёздный вихрь чудес
«Кон. 1937 – нач. 1938»

Что-то апокалиптическое... но знаки препинания под конец забываются, и в конце точка вовсе не поставлена.

Александр Введенский – тот, кажется, и не раздумывал о такой мелочи, как политика, аресты и прочее. Его, как всегда, занимали только две вещи – *смерть* и *время*.

АХ, ГРУЗИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ...

Чем суровее становилось время, тем больше и напряжённее трудился Заболоцкий. Будто хотел забыться в непрерывной деятельности... Если так, от чего? Не от собственных ли стихов, что по сравнению с недавними годами почти что не писались?..

О душевном состоянии поэта, возможно, лучше всего свидетельствует образ воздуха в тогдашних немногих его стихотворениях.

Я встал и вышел. *Острый как металл,*
 мне зимний воздух сердце *спеленал...*
(«Начало зимы», 1935)

Острый металлический воздух может только – ранить. Необычно: спеленал – ранами... Спеленал – значит, закутал, взял в полон, в плен; вторым планом тут словно бы речь о ребёнке, о заново родившемся человеке, которому жить и дышать в колющем воздухе.

А климат, в котором приходится жить, резко континентален: то леденящая стужа, то обжигающий зной:

О, солнце, *раскалённое чрез меру,*
 угасни, смилуйся над бедною землёй!
Мир призраков колеблет атмосферу,
дрожит весь воздух ярко золотой.
 Над жёлтыми лохмотьями растений
 плывут прозрачные фигуры испарений.
Как страшен ты, костлявый мир цветов,
сожжённых венчиков, расколотых листов,

*обезображенных, обугленных головок,
где бродит стадо божьих коровок!*

(«Засуха», 1936)

Не поэты ли это бродят, как изнемогающие божии коровки, среди сожжённого зноем, изуродованного пространства?..

Стихотворение «Засуха» связано с жарким июлем 1936 года, который Заболоцкий с семьёй провёл на Украине. Они сняли две комнатки в селе Прохоровка, в доме юриста. В письме к Тициану Табидзе от 1 июля Заболоцкий пишет, что устроил для жены и сына дачку на берегу Днепра, за Каневом, «в живописном благодатном местечке, которое описано у Гоголя в “Виё”».

Сын Никита запомнил это знойное лето, как отец водил его, малыша, купаться на днепровскую протоку, а по дороге вдруг останавливался и весьма заинтересованно разглядывал крупных чёрных жуков или рогатых улиток. Хотя улитки вползли потом и в стихотворение «Засуха», больше в нём, пожалуй, отразилось другое.

«На обед ели необыкновенно вкусный украинский борщ, который приносила хозяйская работница, деревенская женщина Марфа. Поставив миску с борщом и тарелки, Марфа присаживалась на перила веранды и начинала рассказывать о недавних страшных событиях, опустошивших украинские деревни, – пишет он в своей биографической книге. – Из её рассказов Николай Алексеевич впервые во всех подробностях узнал, какими жестокими методами проводились коллективизация и раскулачивание и какой беспощадный голод обрушился на украинских крестьян в 1932–1933 годах. Хозяйства на Украине были крепкие, поэтому многих крестьян раскулачили, трудоспособных мужиков позабирали и куда-то увезли, в счёт поставок подчистую отобрали весь хлеб, так что даже яровые весной 1933 года сеять было нечем. Марфа рассказывала, как приезжали из города уполномоченные искать хлеб, как зимой съели всю картошку, порезали скот, выкапывали из-под снега и ели жёлуди. Весной поели отруби, кожи, мышей и даже червей. С нетерпением ждали первую зелень, потом первые колоски, но уже началось и самое страшное – людоедство. Марфа говорила, что и сейчас жива женщина из их деревни, у которой украли и съели дочь. А в город не пускали – у станции и вдоль дороги стояло оцепление из военных, да и сил у людей совсем не осталось. А самой Марфе всё-таки удалось уйти из вымирающей родной деревни, и она выжила».

Никита Николаевич пишет об отце, что тот, слушая эти трагические рассказы, думал о вековой давильне природы, что её звериные, хаотические проявления не обошли и человека и «он тоже нуждается в облагораживающем нравственном начале, которое, как и разум, свойственно всё той же природе».

Кто ж его знает, что думает в тот или иной миг человек, даже и родной?.. Тут и без слов ясно: *земледелию до торжества* – очень ещё далеко. И другое было понятно со всей очевидностью: эта власть ни перед какой жестокостью не остановится...

Лучше всего запомнил Никита, как отдыхали после обеда, постелив одеяло на траву. Он, малыш, ходил вокруг одеяла и шалил – плевал в траву. Отец ему тогда сказал:

– Не надо плевать, Никита, а то ты всего себя выплнешь и ничего от тебя не останется. Бывает так с некоторыми людьми...

Основным занятием Заболоцкого в те годы стали переводы грузинских поэтов. Он принялся за это дело со всей своей основательностью и, как видно, по долгому и зрелому размышлению. Переводил поначалу с подстрочников, но потом занялся языком и в дальнейшем, хотя по-грузински не говорил, читать научился. По свидетельству поэта Симона Чиковани, Заболоцкий прекрасно чувствовал музы-

кальное звучание грузинского стиха. Знал наизусть в оригинале целые строфы из Руставели, некоторые строки из Гурамишвили. Любил произносить по-грузински восклицание последнего: «Слава тебе, слава, солнцеликая!» – «и тут же замечал, что в переводе невозможно сохранить величавую простоту и музыкальность этого стиха». Переводы что полевые цветы: цветут и благоухают лишь на своей земле, на родном языке...

Симон Чиковани вспоминает в своём очерке о Заболоцком, что узнал его сначала по «Столбцам» и «Торжеству земледелия». Стихи Заболоцкого казались ему нарочито наивными и в то же время бунтарскими по существу. «Может быть, поэтому я представлял себе автора “Столбцов” человеком с подчеркнута поэтической внешностью и ярким, даже властным характером. Каково же было наше удивление, моё и Тициана Табидзе, когда один наш старый знакомый представил нам молодого полного блондина, среднего роста, в очках, со спокойным и серьёзным выражением лица и сказал: “Познакомьтесь, поэт Николай Заболоцкий”. Я, изумлённый, глядел на него, и мне казалось, что его внешности недостаёт поэтической убедительности. Он больше напоминал степенного учёного. Но сам Заболоцкий неожиданно опроверг наше заранее сложившееся представление о нём. Он вежливо приветствовал нас и любезно произнёс: “Я большой поклонник грузинской поэзии. Правда, я лишь недавно начал изучать её, но уже успел полюбить некоторых из грузинских поэтов”.

Эту коротенькую речь он произнёс с многозначительными паузами, сопровождая каждое слово движением указательного пальца. Тон беседы был сдержанный, почти официальный, но внутренний смысл его слов дружеский и даже предвещающий восторг. Говорил он спокойно, без излишнего красноречия, и казалось, что даже самые незначительные слова были заранее им подобраны, обдуманы и взвешены».

Первое впечатление – самое яркое. С. Чиковани продолжает:

«Подобное несоответствие между его внешностью и творческой натурой заинтересовало меня, и я тут же попытался снять с моего нового знакомого этот панцирь кажущейся недосыгаемости. Оказалось, что это было не таким трудным делом. Н. Заболоцкий в то время переводил “Заздравный тост” Гр. Орбелиани. Стоило мне затронуть эту тему, как лёд мгновенно тронулся, а вскоре и совсем растаял. Мне сразу открылась его тонкая, чуткая, благородная душа, и между нами завязалась непринуждённая дружеская беседа.

Взгляды его на поэзию, на искусство отличались научной точностью и чёткостью, и вместе с тем в душе его гнездились удивительные образы, поэзия проникла в его плоть и кровь, вдохновение навсегда завладело его твёрдым и по-своему прямым характером».

Их знакомство, вскоре переросшее в дружбу, относится к концу 1935 года.

21 февраля 1936 года Заболоцкий пишет Чиковани:

«Дорогой Симон!

“Известия” потребовали, чтобы я сдал перевод твоей “Кахетинской песни” не позже сегодняшнего дня. Я приехал 19-го; следовательно, для работы мне оставалось менее двух суток. Ты понимаешь сам, что перевод, сделанный так быстро, не может быть безукоризненным. Поэтому, прочитав его в газете, не ругай меня: я сделал всё, что было возможно. В дальнейшем я его доработаю. (...)

Твоя “Кахетинская осень” – прекрасное стихотворение. Мы с женой читали его и наслаждались даже по подстрочнику».

Отныне Заболоцкий загружен грузинскими переводами *под завязку*. Ленинградский Детиздат поручил ему переложить поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (старый перевод К. Бальмонта малолетнему читателю не годится), – а

это большая работа, не меньше чем на год, к тому же плановая: в 1937 году книга должна уже быть напечатана. Сознывая, насколько это трудное и ответственное дело, Заболоцкий просит помощи у известного грузинского поэта Тициана Табидзе в письме к нему из Ленинграда, от 1 июля 1936 года:

«(...) В сентябре месяце, в самом начале, я намерен приехать в Тифлис. Я должен буду связаться с Институтом Руставели и с людьми, подготовляющими его юбилей. Необходимо подышать воздухом Грузии и почувствовать Руставели на его родине. Тем более что русская литература не даёт даже элементарных сведений об этом великом поэте.

Моя обработка по своему объёму не будет превышать 1/3 подлинника. Тем более будет трудно, в этом сжатом виде, передать дух и поэтические особенности оригинала.

Если в сентябре месяце Вы, Тициан Иустинович, будете в Тифлисе, я буду просить Вас свести меня с нужными людьми и помочь мне в этом деле. К редактированию обработки мы думаем привлечь Н. С. Тихонова, хотя я с ним ещё не говорил об этом».

Он не скрывает, что пока очень занят ещё и переложениями зарубежных классиков для того же Детгиза:

«До самого последнего времени я был перегружен прозаическими обработками и только теперь заканчиваю их. Намерен тотчас же приняться за Важа Пшавела, но теперь в связи с этой срочной затеей перевод “Алуда Кетелаури” (поэма Т. Табидзе. – В. М.) несколько затягивается. Прошу Вас сообщить, к какому времени он Вам нужен. И что Вы находите нужным делать в первую голову».

Из Прохоровки Заболоцкий вновь пишет Табидзе, – это письмо показывает, как искренне и добросовестно он относился к переводам грузинских поэтов, некоторые из которых, как сам Табидзе, были по-настоящему близки ему по духу:

«Дорогой Тициан Иустинович!

Благодарю Вас за письмо, я получил его своевременно, и оно меня очень порадовало. Я, признаться, одно время думал, что переделка для детей не может заинтересовать публику: мы ещё не привыкли по-настоящему учитывать интересы массового читателя. Но ведь Руставели написал *народную вещь*, в Грузии она известна всему народу. Значит, и в русском переводе мы должны постараться донести её до широких масс читателей... После Вашего письма я спокоен. Если специалисты по Руставели мне помогут, я надеюсь справиться с работой в один год. <...>

“Алуду Кетелаури” я буду переводить зимой, параллельно с Руставели. В Тифлисе мы поговорим об этом подробнее. У меня нет транскрипции этой вещи, кроме того, нужно устроиться с консультацией. Впрочем, это, вероятно, можно устроить и в Ленинграде и помощью С. В. Вирсаладзе, который помогал мне, когда я переводил поэму Орбелиани.

Ваши новые стихи очень хороши, это чувствуется и по подстрочнику. Я сразу стал переводить их и вот посылаю Вам два перевода: “В ущелье Арагвы” и “Рождение слова”. Это – не окончательные тексты, тем более что некоторые строчки для меня и до сих пор темноваты, и я слишком свободно перевёл их. Вообще, как Вы видите, переводы довольно свободные. Я очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я допускаю искажение смысла. Я стараюсь только интерпретировать смысл в том случае, когда это требуется для лёгкости и ясности стиха. В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость душевного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются в одно неразрывное целое – и это для нашего

времени явление редчайшее. Среди современных русских поэтов природу любят и чувствуют лишь очень немногие... Такое гармоничное и естественное слияние душевного мира с природой, какое я вижу по Вашим стихам, есть результат долгой поэтической и душевной работы, – результат, о котором молодые поэты могут только мечтать».

В начале осени 1936 года Николай Заболоцкий приехал в Грузию. Это было впервые, и пышное грузинское гостеприимство, с его бесконечными застольями витиеватыми тостами, обильным вином, благодушными разговорами, хоровым пением, если не поразило его, то немало развлекло. Ему устроили вечер в Союзе писателей; его как драгоценного гостя передавали из дома в дом; водили в театры, на выставки художников. Жене, оставшейся с приболевшим сыном на Украине, поэт хоть и шуточно, но не без удовольствия сообщал, что у него в Тифлисе *шумный успех*. «Знаменитые писатели, орденосцы каждый день приглашают на пирушки, заставляют читать стихи и стонут от восторга. Если бы русские писатели относились ко мне так же, как грузины, я был бы знаменитостью».

Впрочем, он, возможно, ещё не вполне отличал древний ритуал встречи *дорогого гостя* от действительности, которая, разумеется, прозаичней видимости и замешана на желании заполучить в переводчики замечательного поэта. Приятное вовсе не исключает полезного, – но, собственно, полезного искал в Грузии и сам Заболоцкий.

«На пирушках каждый раз и по несколько раз пьют за твоё здоровье и за здоровье Никиты, и все хотят познакомиться с тобой. Я обязательно привезу тебя в Тифлис, – писал он жене. – Несмотря на пирушки, и весьма большие (позавчера у Тициана было человек 20 народу, выпили 2 ½ ведра кахетинского), я делаю свои дела и даже пишу. Перевёл детское стихотворение Квитко, и, кажется, удачно. Пошлю в “Чиж” и в сборник Квитко. <...>

Очень хорошо и полезно для меня – что я сюда приехал. Познакомился со многими интересными людьми. Женщины здесь встречаются – писанные красавицы, но я для них стар и толст и, кроме того, не собираюсь доставлять неприятности моей милой жёнке. Да и здесь грузины, чего доброго, по шее дадут.

Природа прекрасная. Я буду писать о Грузии. Предполагается много переводов. <...>».

Через несколько месяцев, в декабре, он признавался в письме Миколу Бажану, что в Грузии и после Грузии жизнь его «крутит»:

«В Грузии, сами понимаете, пробыл месяц, который, как известно, заключает в себе 30 дней. Из этих 30 дней – 24 дня был пьян, остальное время занимался делами. Удивляюсь себе, как успел сделать всё, что нужно. Причина тому – наш дорогой Симон. Он потратил на меня много времени и забот, дай бог ему здоровья. Конечно, всего того, что Вы видели в Грузии, я не видел, но всё же был в Кахетии, в Цинандалах, в Мцхете и иных местах. Очень сошёлся с грузинами, особенно с Симоном. Были с ним в Гори и дали друг другу обещание написать об этой поездке стихи».

В Гори, на родине И. В. Сталина, Симон Чиковани первым делом сводил Заболоцкого к приземистой ветхой хижине, где Сосо Джугашвили появился на свет и прожил первые годы своей жизни. Вскоре там откроют Дом-музей генсека – огромный дворец в «сталинском готическом стиле», и крохотная в сравнении с мемориалом родовая хижина обретёт над собой каменный купол. На лестнице, в пролёте между первым и вторым этажами музея встанет мраморная статуя товарища Сталина. *Вождь народов* одет по-военному, под мышкой книга, на которой выбито одно слово: «Ленин»...

Но тогда, в 1936-м, всей этой величественной гранитно-мраморно-бронзовой готики ещё не было. Друзья-поэты тут же отправились в давно облюбованный Симоном винный подвальчик. ««...» пили знаменитое атенское вино, которое настолько нежно, что выносит перевозку не далее чем из Атени в Гори, – сообщает Н. Н. Заболоцкий в своей книге. – Выйдя из духана, они поднялись на холм со старинной крепостью и оттуда долго смотрели на город, на окрестные поля, сады и виноградники, окаймлённые горными хребтами и залитые вечерним солнцем. После атенского вина и дружеской беседы всё в мире казалось прекрасным, острое чувство прелести существования переполняло их души. Тут же, у Горийской крепости, они пообещали друг другу, что непременно напишут стихи об этом вечере».

Заболоцкий, обязательный по натуре, первым выполнил обещание. Так появилась «Горийская симфония» – пышное и торжественное стихотворение, в чём-то зеркально повторяющее грузинский ритуал гостеприимства. Да не затем ли его и возили в Гори? Отзывчивость – свойство любого поэта. Отдавал ли Заболоцкий себе отчёт в том, что втянут в некую тонкую, но достаточно прозрачную игру? Ведь в стихах об этом городе нельзя было не писать о самом вожде. Симон Чиковани, как видно, не торопился со своими стихами, а вот Заболоцкого торопил:

«Ты настаиваешь, чтобы я написал стихи о Гори, – писал другу Николай Алексеевич 14 ноября 1936 года. – Изволь, стихи готовы, посылаю тебе список. Они возникли благодаря тебе, – читай же и наслаждайся. Шутки в сторону – стихи, кажется, не очень плохие. Прошу тебя, прочти и сообщи мне – каковы они, нет ли каких грузинских неточностей и пр. Одновременно посылаю их Живову в “Известия”, с просьбой напечатать во время Съезда Советов. Напечатают ли – неизвестно.

Теперь, дорогой товарищ, очередь за вами! Жду твоих стихов о Гори – помни наш уговор!»

Одно дело, когда у поэта как бы сами собой пишутся стихи: это – явление поэтической стихии; и другое дело, когда поэт пишет стихи: тут воля, ум, мастерство, – но не более того. «Горийская симфония» похожа на пространный заздравный тост в честь Грузии и «великого картвела»: о его подвигах над миром «по-карталински медленно шумят» даже «тополя, поставленные в ряд». Как видим, натурфилософия тоже боком притулилась в этом карталинском шуме тополей. А поэзия – лишь намёком в нескольких строках:

Взойди на холм, прислушайся к дыханью
камней и трав, и, сдерживая дрожь,
из сердца вырвавшийся гимн существованью,
счастливый, ты невольно запоёшь.

Как широка, как сладостна долина,
теченье рек как чисто и легко,
как цепи гор, слагаясь воедино,
преображённые, сияют далеко!

Всё это немного тонет в «готической» приветственной риторике – так ««...» гремит в стране отцов – / заздравный гимн – вождю народов мира». Апофеоз!.. даже здравый смысл кое-где утрачивается...

И снова утро всходит над землёю.
Прекрасен мир в начале октября!
Скрипит арба, *народ бежит толпою*,
и персики как нежная заря

мерцают из раскинутых корзинок.
 О, двух миров могучий поединок!
 О, крепость мёртвая на каменной горе!
Пронзён (?) весь мир с подножья до вершины;
 исчез племён косноязычный быт,
 и план, начертанный рукою исполина,
 перед народами открыт.

В общем, кашу маслом не испортишь...

«Горийская симфония» была напечатана в декабре 1936-го в «Известиях»; восторженные грузины засыпали Заболоцкого телеграммами. И – сдвинулось его литературство с мёртвой точки, будто «паровоз» (да так и звали между собой поэты подобные стихи) дёрнул и потянул за собой давно застывший состав: большой поэтический вечер в Ленинграде, «работищи по горло» с переводами, и с книжкой собственных стихов «начинает что-то такое получаться». Он и сам, пожалуй, рассчитывал на всё это: такие стихи даром не пишутся. Это угадывается по письму к М. П. Бажану, написанному в конце 1936 года:

«Если Вы читали мою “Горийскую симфонию» в “Известиях”, Вы, вероятно, поняли, что это стихотворение будет играть значительную роль в моей литературной судьбе. Признаки к тому уже налицо. 16 ноября в Доме писателя состоится мой вечер – первый после 1929 года. Ряд журналов просят стихи. Что будет дальше – увидим».

Как Рабле, хоть и был *неверующим*, он *поцеловал руку некоему папе*.

УДЕЛ ЛИТЕРАТОРА

Но таким ли уж неверующим – в дело социализма и в метод соцреализма – был тогда Николай Заболоцкий?..

В воспоминаниях литературоведа Н. И. Харджиева есть небольшой эпизод о том, как он с Хармсом и Заболоцким побывали в гостях у Казимира Малевича – незадолго до 15 мая 1935 года, когда художник скончался. Харджиев утверждает, что хорошую встречу испортил-де Заболоцкий, «который с оскорбительным благоразумием вздумал поучать Малевича, советуя тому приложить своё мастерство к общественно полезным сюжетам. Очевидно, Николай Алексеевич уже подумывал о собственной перестройке. Вскоре Хармс, коварно улыбаясь, мне сказал, что Заболоцкий собирается воспеть “челюскинцев”».

Заболоцкий и раньше стремился деятельно участвовать в жизни страны, – об этом в особенности свидетельствует его поэма «Торжество земледелия». Да, собственно, и его натурфилософские утопии говорят о том же, – разве что заглядывал он в некое отдалённое будущее всего человечества, не слишком обращая внимание на сегодняшний день. Писать *по заказу* – для него не было зазорным, никакого соглашательства с поэтической совестью он тут не видел, ведь всё дело в том – как писать. Он пытался выбраться на дорогу с обочины, куда его некогда вытолкнули рапповцы, ныне оседлавшие соцреализм. В самом близком кругу Заболоцкого отнюдь не отрицали такого выбора для любого поэта. Так, Л. Липавский рассуждал в «Разговорах»: «Говорят о плохих эпохах и хороших, но я знаю, единственное отличие хорошей – отношение к видимому небу. От него и зависит искусство. Остальное не важно. Нам, например, кажется, писать по заказу плохо. Но прежде великие художники писали по заказу, им это не мешало...» При всём этом Николай Алексеевич ни к каким должностям – ни официальным, ни общественным – не

рвался и добродушно посмеивался над теми, кто стремился быть на виду. О Николае Тихонове, которого ценил как поэта и человека, сочинил шуточный стишок и напевал его под гитару:

Эх, ёлки, ёлки, ёлочки,
Вершины, как иголки.
Был бы Тихоновым Колей,
Излечился б от мозолей,
Всё ходил бы босиком
То в Горком, то в Совнарком.

«Челюскинцев» Заболоцкий, как и говорил Хармс, *воспел* – точнее бы сказать, не их одних, а всех *людей Севера*, мужественных первопроходцев Арктики. Воспел по-настоящему – прекрасными, сильными стихами, в которых искренний пафос пронизан подлинным, не на показ, трагизмом:

В воротах Азии, среди лесов дремучих,
где сосны древние стоят, купая в тучах
свои закованные холодом верхи;
где волка валит с ног дыханием пурги;
где холодом охваченная птица
летит, летит, и вдруг, затрепетав,
повиснет в воздухе, и кровь у ней сгустится,
и птица падает – умершая – стремглав;
где в жолобах своих гробообразных,
составленных из каменного льда,
едва течёт в глубинах рек прекрасных
от наших взоров скрытая вода;
где самый воздух, острый и блестящий,
даёт нам счастье жизни настоящей,
весь из кристаллов холода сложен;
где солнца шар короной окружен;
где люди с ледяными бородами,
надев на голову конический треух,
сидят в санях и длинными столбами
пускают изо рта оледенелый дух;
где лошади как мамонты в оглоблях
бегут, урча; где дым стоит на кровлях
как изваяние, пугающее глаз;
где снег, сверкая, падает на нас,
и каждая снежинка на ладони
то звёздочку напомнит, то кружок,
то вдруг цилиндром блеснёт на небосклоне,
то крестиком опустится у ног;
в воротах Азии, в объятьях лютой стужи,
где жёны в шубах и в тулупах мужи, –
несметные богатства затая,
лежит в сугробах родина моя. <...>

Какое мощное, широкое дыхание!.. какой простор пространства открывается уму и чувству!.. как естественно и с каким достоинством звучит здесь *мы, наше!*..

Заболоцкий и сам был немного человеком Севера: вятская земля граничит с Арктикой. Одно из ярчайших воспоминаний его детства – зимние поездки с отцом на санях из Уржума в Сernур... В начале 1936 года поэт близко сошёлся с писателем Соколовым-Микитовым и художником Пинегиным, заслушивался их рассказами о путешествиях, о Севере...

Скоро, скоро и сам он окажется в этих далёких вечных сугробах родины, где лежат «несметные богатства». И там будет ждать его подневольный тяжкий труд, ежедневная борьба за собственное существование на земле...

Корабль недвижим. Призрак величавый,
 что ты стоишь с твоею чудной славой?
 Ты – пар воображенья, ты – фантом,
 но подвиг твой – свидетельство о том,
 что здесь, на Севере, в середине льдов тяжёлых,
 разрезав моря каменную грудь,
 флотилии огромных ледоколов
 пробьют над миром небывалый путь.
 Как бронтозавры сказочного века,
 они пройдут – созданья человека,
 пловучие вместилища чудес,
 бия винтами, льдам наперерез.
 И вся природа мёртвыми руками
 обнимет их, но, брошенная вспять,
 горой отчаянья падёт над берегами
 и не посмеет головы поднять.

(«Север», 1936)

Тему Севера и его отважных первопроходцев продолжило стихотворение «Седов» (1937). Эта тема навеяна «общегосударственной» задачей *покорения природы*, или, иначе говоря, навязчивой волей времени, в основе которой – идея человекобожества. «Всё, всё отдать, но полюс победить! – вот желание, которым, по Заболоцкому, одержим полярный исследователь Георгий Седов.

Но как это – *победить полюс*? Это же – географическое понятие, геомагнитный «пуп» планеты. Как он был, так и останется полюсом, хоть тысяча «победителей» на него ступи. Вот, к примеру, восходителей на высочайшую гору Земли называют «покорителями Эвереста», – но что же они на самом деле *покорили*? Разве что трудности восхождения. А гора как была, так и осталась на прежнем месте, она и не заметила, что кто-то, изнемогший от изнурительной дороги и кислородного голодания, недолго постоял на вершине, а потом пошёл обратно – и неизвестно, дойдёт ли ещё живым до своей палатки на склоне...

В «Седове» трагизм покорения пространства уже не скрыт за образами природы, как в стихотворении «Север», – а вполне конкретен:

Он умирал посреди дороги,
 болезнями и голодом томим,
 в цинготных пятнах ледяные ноги,
 как брёвна, мёртвые лежали перед ним.
 Но странно! – в этом полумёртвом теле
 ещё жила великая душа.

Превозмогая боль, едва дыша,
к лицу приблизив компас еле-еле,
он проверял по стрелке свой маршрут
и гнал вперёд свой поезд погребальный...
О, край земли, угрюмый и печальный!
Какие люди побывали тут!

...Если на миг позабыть про героя-полярника, то сказано словно бы о тысячах кулаков, сосланных в начале тридцатых на севера, или же о эках конца десятилетия...

И здесь, и на дальнем Севере, могила...
Никто не знает, где лежит она.
Один лишь ветер воет там уныло,
и снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
среди камней героя погребли,
и не было ему простого даже гроба,
щепотки не было родной ему земли.
И не было ему ни почестей военных,
ни траурных салютов, ни венков,
лишь два матроса, стоя на коленях,
как дети, плакали, – одни среди снегов.

«Север» и «Седов» – советские, героические, в державинском духе, оды, – и это новая черта в творчестве Николая Заболоцкого.

Натурфилософский туман всё ещё окутывал его: возвышенная мысль о разумном устройстве жизни на земле порой сбивалась на *пользу* – на утилитарщину:

Природа чёрная, как кузница,
Кто ты – богиня или узница? <...>
Отныне людям ты союзница,
Тебя мы вылечим в больнице,
Посадим в школу за букварь,
Чтоб говорить умели птицы
И знали волки календарь;
Чтобы в лесу, саду и школе
Уж по своей, не нашей воле
Природа, полная ума,
На нас работала сполна.
(1936)

Поддержка центральной газеты немало помогла Заболоцкому, и он был от души признателен «Известиям», по возможности отвечая взаимностью. Но газета есть газета: она живёт злобой дня, то есть изменчивой политикой. Газета вовсе не занимается благотворительностью или же покровительством музам – и за свои услуги требует службы. Превратившись в «Известиях» на какое-то время чуть ли не в штатного поэта, Заболоцкий как бы должен был воспевать и другое, не только подвиги людей Севера. В стихотворении «Великая книга» (1937) он уже славил новую Конституцию страны. Среди ярких поэтических строк замелькало

обязательное: «сталинская могучая сила», «дыханье Октября», «владыка мира, счастья и труда!» и прочее. Сталинская Конституция 1936 года действительно приспустила поводья туго взнузданного советского народа, но не сказать, чтобы очень. Стало доступнее образование, где до того зверствовал классовый принцип; «лишенцы» были восстановлены в гражданских правах. Так что пафос Заболоцкого, как заметил В. Шубинский в книге о Хармсе, «до известной меры мог быть искренним, как пафос Пастернака, посвятившего новой Конституции и её “зодчему” восторженную статью».

Дальше – больше.

27 января 1937 года «Известия» напечатали стихотворный отклик Заболоцкого о политическом процессе по делу «Параллельного троцкистского центра» – в антисоветской деятельности обвинялись Пятаков, Радек, Серебряков и Сокольников.

Как? Распродать свою страну?! Чтоб под сапог германский
 Всё то, что создано работою гигантской,
 Всем напряженьем сил, всей волею труда, –
 Колхозы, шахты, стройки, города, –
 Всё бросить, всё продать?! Чтоб на народном теле
 Опять они, как вороны сидели!

Запев одический, однако поэзия, конечно, здесь и не ночевала. Заболоцкий всё же избегает тех крайних требований, что звучали на митингах против *врагов народа*, ограничиваясь моральным осуждением и утверждением общих гражданских ценностей:

Сквозь бедствия войны, переполох умов,
 Сквозь горе человеческое, муку
 Мы пронесли великую науку –
 Науку побеждать, чтоб был у власти Труд,
 Науку строить так, как в песнях лишь поют,
 Науку веровать в людей и, если это надо, –
 Уменье заклеить и уничтожить гада.

(«Предатели», 1937)

Того же качества и пространное произведение «Война войне», написать которое его, по-видимому, тоже подвигли «Известия».

Невеликая честь – наскоро сочинять стихотворную публицистику – тем более поэту такого уровня, какой был у Заболоцкого. Однако отказаться от сотрудничества с центральным изданием он, наверное, не мог: на кону стояла его литературная судьба. В письме к литератору В. В. Гольцеву от 12 января 1937 года Николай Алексеевич сообщал: «Сейчас я занят составлением книжки стихов, которая в основном принята к изданию Ленинградским ГИХЛом и утверждена Москвой. Если всё будет благополучно, к весне книга может уже выйти из печати. Я книги не имею с 1929 года, посему это событие для меня весьма серьёзного значения. Рад бы взять у Вас новые переводы, но над головой – Руставели, и поделаться сейчас ничего не могу. После Руставели я в Вашем распоряжении, но это случится не раньше осени».

Очевидно: пишет усталый человек, настроения никакого... Суета литераторства; тревожные предчувствия; ничего путного не предвидится. Всё это весьма заметно по письмам к Симону Чиковани.

30 января 1937 года:

«Что у вас в Тбилиси нового? Тоже, вероятно, вроде меня, как в колесе крутишься. Что касается меня, то эта зима у меня особенно сложная. Вечера, выступления, статьи и стихи в журналах, книга стихов сдаётся в производство, статья и работа в “Известиях”, борьба на фронте детской литературы – это отнимает почти всё время, так что пишу очень мало и даже твоего стихотворения не перевёл ещё до сих пор. Читал ли ты мою статью в “Известиях”? И как её приняли грузинские товарищи? Вопросы поставлены, кажется, достаточно точно и резко. Моё положение в Ленинграде двусмысленно: одобренный рядом уважаемых и авторитетных людей, – в среде поэтов чувствую глухое сопротивление. Это, вероятно, скоро проявится конкретно и вернее всего со стороны москвичей. Конечно, это меня не очень пугает, поскольку дело идёт не об отдельных людях, а о всём положении в советской поэзии».

6 марта 1937 года:

«Срочно пустили и пускаем в производство огромными тиражами ряд книг. Из моих обработок идут Рабле, де Костер и “Гулливвер” Свифта. Нужно было заново просмотреть 25 листов текста, сверить, выправить и пр.

Книжка стихов в производстве: жду гранок. В Московском Детгиздате – отдельное издание “Алуды Кетелаури”. За всем смотреть надо.

Живу, как гусь, закопавшись в бумаги, и только изредка вытягиваю из них свою шею, чтобы посмотреть, что делается на свете. Предстоит ленинградский пленум: 3-4 дня с костей долой. Беда. Хоть бы ты приехал, честное слово. Повеселее было бы».

Наконец его «Вторая книга» вышла, однако много ли радости она принесла поэту? По объёму предельно малая – всего 17 стихотворений, состав сборника приходилось всё время «утрясать». Так, в последний момент вместо «Лудейникова в саду», ставшего вдруг *непроходным*, пришлось ставить стихотворение «Седов»...

Впрочем, Заболоцкий по-прежнему не терял надежды на лучшие времена. В письме к В. В. Гольцеву от 12 ноября 1937 года он писал:

«Я очень рад, что моя книжка пришлась, кажется, Вам по душе. Она ещё не цельная: торчат концы старого, видны ростки нового. Буду надеяться, что к концу будущего года переиздам книжку в более цельном виде. На будущий год у меня большая работа: нужно переложить на русские стихи “Слово о полку Игореве” – работа интересная и ответственная. Кроме того, думаю заняться переводом Важа Пшавела и своими стихами».

ПЕРЕХОД

Как ни желал Заболоцкий новой книги стихов, а выход её вряд ли его сильно порадовал: выпустить сборник в задуманном виде ему просто не дали.

После «Столбцов» и поэмы «Торжество земледелия» за поэтом бдительно присматривали и цензура, и литературные критики, и редакторы издательства. «Он уже был поэтом с именем, хорошо известным любителям поэзии, а кроме тоненькой книжечки, вышедшей семь лет назад, отдельного издания стихов у него не было, – пишет Никита Заболоцкий. – Он не мог забыть неудачи со сборником, набор которого был рассыпан в 1933 году, но упорно стремился выпустить книгу, охватывающую всё его творчество – от “Столбцов” до последних стихотворений. Но вот, почувствовав себя немного свободнее от прессы критики, но ещё до поездки в Грузию, он снова собрал свои произведения, отредактировал их, перепечатал в трёх экземплярах и машинописные сборники заключил в тёмно-красные пере-

плёты. Получилось такое собрание, которое Заболоцкому хотелось бы издать при достаточно благоприятных внешних обстоятельствах».

И далее, самое удивительное:

«Целиком его состав нам не известен, но знаем: поэма “Облака” в него вошла».

То есть даже содержания второго сборника стихов – в его первоначальном виде – не сохранилось. Больше того, всё три экземпляра переплетённой рукописи канули во времени. А между тем Заболоцкий, казалось бы, всё предусмотрел:

«Во избежание всяких случайностей по одному экземпляру Николай Алексеевич отдал на хранение наиболее близким, надёжным друзьям – Н. Л. Степанову и Е. Л. Шварцу. А третий экземпляр, преодолев сомнения и колебания, послал главному редактору “Известий” Н. И. Бухарину с просьбой высказать своё мнение о сборнике и, если оно будет благоприятным, – рекомендовать книгу для издания. Николай Алексеевич знал о благосклонном отношении Бухарина к его творчеству и надеялся на его помощь. Вероятно, о ненадёжном положении самого Бухарина в то время не было широко известно, и Николай Алексеевич не думал об опасности, связанной с таким покровительством. Однако Бухарин не счёл возможным принять участие в судьбе книги и через некоторое время возвратил её с вежливой запиской, в которой говорилось, что поэту он ничем помочь не может. Вскоре с должности главного редактора “Известий” он был снят, а затем и арестован – уже назревал известный процесс по делу о “правотроцкистском” блоке».

Николая Заболоцкого уже несколько лет публично *перевоспитывали* – жёсткой критикой в печати. А незадолго до «Второй книги» он подвергся проработке в ходе кампании против формализма в искусстве. В конце концов от него добились покаяния в «грехах» новаторских поисков. Больше того, поэт начисто отказался от необычной стилистики и стал писать стихи в традиционном духе.

Но всё это – видимая часть *айсберга*. Что же скрывалось *под водой*? В самом ли деле поэт перевоспитался или же естественным путём пришёл к классике, исчерпав возможности авангардистской манеры?

Форма сама по себе не определяет содержания – а вот содержание большей частью определяет и форму. У «Столбцов» – одна поэтика, у натурфилософских произведений – другая. Не исключено, они в том и в другом случае были Заболоцким исчерпаны, – и он шёл дальше. Это были, так сказать, *одноразовые поэтики*, уместные каждая для своей темы, – что их несколько не умаляет. Выработав их как золотосные жилы, поэт устремился к чему-то универсальному: ему надо было выйти на простор всего русского языка. Но язык, в русском понимании, это ещё и *народ*. В уютных рамках признания поэтов-профессионалов ему уже становилось тесно – похоже, после «корпоративного» успеха Заболоцкому потребовалось и признание народа. Не об этом ли свидетельствует его постепенный переход к традиционному стиху? Про это же говорят и его статьи 1937 года о Пушкине и Лермонтове, и его идея переложить стихами родниковый источник всей русской поэзии – «Слово о полку Игореве».

В январе 1937 года страна *широко отмечала* 100-летие со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. (Звучит странно – торжество по случаю гибели, но такова была воля властей.) К этой дате в «Известиях» появилась большая статья Заболоцкого «Язык Пушкина и советская поэзия» с подзаголовком: «Заметки писателя». Уже в самом начале статьи он ясно выразил свою основную мысль: «В результате своей творческой жизни Пушкин дал нам языковую систему, настолько крепкую и живучую, что и теперь, несмотря на свой вековой возраст, она ближе нам, понятней и дороже, чем многие другие системы, в том числе и позднейшие».

Итак, если раньше, в «Столбцах», его образному взору предстояла, так сказать, *система кошек*, то теперь он жил как поэт в *системе языка*.

Заболоцкий придиричиво и строго разбирает современную ему советскую поэзию. По его мнению, в сравнении с поэзией дореволюционной она «в общей своей массе» выросла неизмеримо. (Ну, это – количество, а качество?..) «Безвозвратно исчез язык замкнувшегося в своей комнате интеллигента. Исчезли мистические “откровения” провидцев и кликуш. Всё меньше остаётся книжности, искусственности и архаической манерности поэзии прошлого. Пришёл новый поэт, поэт жизнерадостный, трезвый, любящий жизнь. Общественные интересы нашей родины – его кровные интересы. Всем своим творчеством он служит делу строящегося социализма».

Трудно судить, насколько искренни последние предложения с их «обязательными» для газет того времени оптимистическими посланиями, но, несомненно, это новая позиция поэта – и заключена она, в согласии с пушкинской традицией, в стремлении к народности поэзии. Вглядываясь в творчество коллег по *цеху поэзии*, Заболоцкий ни в ком не видит должного совершенства, зато «болезни» налицо:

«Алогическая, тёмная речь Пастернака; мужественная, комковатая речь Тихонова; развязная, на редкость многословная, путаная, лишённая вкуса и малейшего поэтического такта речь Сельвинского; подтанцовывающая и жонглирующая речь Кирсанова; утомительная, серая речь Безыменского; ладожский говор Прокофьева, соединяющего “фольклорные” обороты с литературными; пошловато-сентиментальный язык Уткина и десятки других голосов и подголосков (в том числе и автора этой статьи с его ошибками), – какая перед нами пёстрая картина!»

(Заметим в скобках, почему-то отсутствуют на этой картине Ахматова и Мандельштам, П. Васильев и Корнилов, Луговской и Багрицкий. – В. М.)

«Бросается в глаза полное отсутствие общеобязательных языковых устоев, которые одни только и могут превратить это беспорядочное многообразие в стройное и величественное здание советской поэзии, где, конечно, голос каждого поэта должен и будет звучать по-своему.

Я далёк от мысли сравнивать силу наших способностей с огромным дарованием Пушкина; я хочу лишь сказать, что у нас до сих пор существует вредная тенденция не считаться с основными законами большого поэтического языка, завещанного нам Пушкиным. Наши стихи частенько малопонятны, сбивчивы; язык неряшлив, концы строк висят небрежно, рифмы выродились в едва заметные созвучия; целые моря лишней, ненужной, водянистой болтовни; песни наши если и поются, то тексты их исправляются певцами “на ходу” и весьма часто от этого выигрывают; мысли наши нередко бледны и неотчётливы; думаем мы маловато, учимся ещё того меньше и даже с тем, что происходит вокруг нас, часто знакомимся лишь по газетам да по рассказам знакомых.

А между тем как изменилось время! “У нас литература не есть потребность народная”, – писал Пушкин. У нас же литература воистину стала народной потребностью. “Класс читателей ограничен” – жаловался Пушкин. У нас читателей – миллионы! Нужно только найти дорогу к человеческим душам, и уж тогда будет настоящая возможность стать инженером человеческой души».

В его предметном и резком обзоре особенно досталось Илье Сельвинскому – за стихотворение «Занимаюсь от злости немецким...», в котором тот, воспев себя и свой «роскошный язык», пушкинский стих пренебрежительно назвал «тепловатым»:

«Скажем честно, позорные стихи написал Сельвинский <...>. Какая самовлюблённость, какая слепота, какое непонимание нашего времени, какое отвратительное издевательство над Пушкиным, гордостью нашей литературы, отцом нашей поэзии! <...>

Илья Сельвинский – не Пушкин. Мало того что из года в год он заливает нас мутными потоками своих хаотических творений, – он благоговейно собрал свои детские стишки и в 1929 г. преподнёс их обрадованному читателю в виде здоровенной книжищи на 250 страниц под заглавием “Ранний Сельвинский”. Какая беспардонность! Вот уж поистине редкий пример неуважения к читателю.

Стишки “раннего” Сельвинского – просто жалкие стихи, но Госиздат приветливо принял их и напечатал тиражом в 3000 экз. И ещё жалуется Сельвинский, что он не любим эпохой и “неосвоен” ею. О, бедный, великий, непонятый Сельвинский!

И. Сельвинский, «гремевший» тогда, ныне почти забыт. А вот замечание о Пастернаке Заболоцкому просто так *не сошло с рук*. В. Шубинский в книге о Хармсе пишет:

«На рубеже 1936–1937 годов Заболоцкий совершил ещё несколько шагов, вызывающих сегодня огорчение и недоумение (ранее говорилось о стихотворении «Предатели». – В. М.) – например, на собрании, посвящённом пушкинскому юбилею, он выступил с критикой “комнатного искусства” Пастернака. Где кончалось общее для обэриутов неприятие пастернаковской “невнятицы” и начиналось соперничество за статус “первого поэта”, носителя большого стиля эпохи? Где заканчивалось это соперничество и начинался обычный страх? Нам этого не понять – мы не жили в сталинскую эпоху».

Конечно, поэты всегда, сознательно или бессознательно, соперничают друг с другом: это не только авторские притязания на первенство во времени и на место в вечности, но и свойство любого дара, завоёвывающего словом пространство душ и умов. Но в данном случае Николай Заболоцкий, вполне вероятно, спорит не столько с Пастернаком, сколько с самим собой, утверждая свою новую поэтику недаром же в список критикуемых поэтов он включил и самого себя – прежнего. Что касается «обычного страха», то это не про Заболоцкого: ведь речь о поэзии, а поэзия для него превыше всего.

Небожитель Борис Пастернак, разумеется, публично никак не откликнулся на это замечание Заболоцкого, а вот таланты рангом пониже не отмолчались. «Говорят, Вишневский и Сельвинский ругали меня на пленуме за статью, – писал Заболоцкий Симону Чиковани 6 марта 1937 года. – Относительно Сельвинского – понятно, но что лезет Вишневский? Будто бы ссылался на мои стихи. Мои стихи – не пример. Я могу вовсе не писать стихов, но тем не менее заявить своё недовольство по поводу положения в совр[еменной] поэзии – моё право, и никакой Вишневский этого права у меня не отнимет».

Потеряв надежду на поддержку Бухарина, Заболоцкий сам пересмотрел состав своей новой книги стихов перед тем, как сдать рукопись в издательство. Заведомо «непроходные» произведения убрал и, конечно, включил в сборник свежие стихи 1936–1937 годов: «Вчера, о смерти размышляя...» и «Бессмертие» (впоследствии, отредактированное, оно стало называться «Метаморфозы»). По мысли, оба этих стихотворения – та же натурфилософия, но не в прихотливом ритме и в свободных рифмах прежних стихов, а закованная, как *Нева в гранит* (Пушкин), в классический строгий ямб.

* * *

С выходом большой подборки стихов в «Литературном современнике» (№ 3, 1937) и «Второй книги» переход поэта к традиционному стилю стал очевиден для всех его читателей.

Ранний Заболоцкий остался за перевалом – начался *поздний*.

«Как мир меняется! И как я сам меняюсь!...» – воскликнул он тогда же, в стихотворении «Бессмертие». Возможно, в этой строке отразилось и это...

Читатель, наверное, консервативней писателя: далеко не всякий принимает такие резкие перемены и, привыкнув к старому, освоив его и полюбив, сочувствует новому.

Крайние взгляды на этот переход дают понятие о разбросе мнений, как современных поэту, так и последующих.

Поэт Юрий Колкер пишет в статье «Заболоцкий: жизнь и судьба»:

«По сей день о Заболоцком спорят; решают, какой из двух лучше: поздний или ранний. Всегда будут те, кому в стихах всего дороже мальчишеская прыть и ветер перемен, и те, кто кратчайший (и кротчайший) путь к сердцу – и от сердца – видит в следовании традиции. В пользу первых можно сказать, что жестокость (непременная спутница революций) – сестра красоты. В пользу вторых есть два довода. В середине XX века философы произнесли наконец то, что в древности само собою разумелось: традиция умнее разума (Аристотель вообще утверждал, что основа искусства – подражание). И второе, тоже самоочевидное: отказ от традиции снимает вопрос о мастерстве, устраняет критерий; а что такое искусство без мастерства? Чем восхищаться будем? Удивление, на которое делают ставку теперешние стяжатели славы, – низшее из чувств, принимающих участие в восприятии искусства. На нём далеко не уедешь».

Совершенно по-другому осмысливает это явление поэт Алексей Пурин в статье «Метаморфозы гармонии: Заболоцкий»:

«...» жизнь Заболоцкого изменяется – авторское “я” обростает значимыми и прочными связями с окружающим миром; мир ловил его – и поймал, сказал бы философ. О чём думает человек, пойманный миром, опутанный им по рукам и ногам? Известно о чём:

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединенья
Пронзила сердце мне, и в этот миг
Всё, всё услышал я – и трав вечерних пеньё,
И речь воды, и камня мёртвый крик.

Эти стилистически финальные строки (потом, до самой смерти, Заболоцкий будет лишь варьировать найденный им псевдоклассический стиль, обогащая его всей гаммой индивидуальных поэтических интонаций XIX столетия, от позднего Пушкина до Некрасова и Надсона) написаны в 1936 году. Изменяется жизнь – и сумма гармонии требует изменения второго слагаемого: ни на что не похожие столбцы становятся на всё похожими стихотворениями, проходя попутно стадию поэм (...).

Но это “стихотворение” как жанр коренным образом отличается от лирического стихотворения прошлого и начала нашего столетия. Оно – гипсовый слепок лирики, посмертная маска классики. Вместе с поздней Ахматовой (переломный пункт в её творчестве – “Реквием”), вместе с поздним Пастернаком (достаточно сравнить, например, стихи Заболоцкого “Не позволяй душе лениться” с пастернаковскими – “Быть знаменитым некрасиво...”), вместе со своим почти ровесником Арсением Тарковским – Заболоцкий начиная с середины 30-х годов строит огромный пост-модернистский музей лирических слепков. Музей, экспонаты которого не только

пугающе напоминают шедевры сталинского ампира – живопись Самохвалова и Дейнеки, музыку Дунаевского, поэзию Исаковского, но, по сути, и представляют собой высшие достижения такого монументального искусства тоталитарной эпохи, вершины советской классики.

Искусство это – при всём его эстетическом подчас великолепии – не только мертвенное, но и мертвящее. <...>

Наступает обывзествление, старость художественного стиля – то, о чём писал в своё время Тынянов: «Шероховатость, пещеристость – признак молодой ткани. Старость гладка, как бильярдный шар». Но при всей своей гладкости и прохладе это умирание стиля способно приносить странные, вероятно – отравленные, но чем-то необычайно притягательные плоды. Особенно – в случае Заболоцкого, с его феноменальной версификационной выучкой, с его мастерством».

В этом стройном, утончённом эстетском суде над поэзией позднего Заболоцкого, как нам кажется, есть своя правда, но есть и своя неправда.

«Псевдоклассический» стиль?.. Почему же «псевдо»? – вполне классический. Что же предосудительного в том, что поэт вышел на торную дорогу? Не всё же шагать окольными тропами, которые сами по себе такой дорогой никогда не станут. Главное, *с чем* ты по ней идёшь. Заболоцкий остался сам собой и в традиционном стихе. Конечно, не таким ярким и самобытным, как в столбцах, но его поэзия явно ушла в глубину, а глубина не так бросается в глаза... (Кстати, столбцы – превратились в новую классику, только она по оригинальности своей не может быть повторённой.)

«Лирические слепки»?.. «Сталинский ампир»?.. «Монументальное искусство»?.. Ну, разве подходят под эти определения такие шедевры позднего Заболоцкого, как «Слепой», «В этой роще берёзовой...», «Прощание с друзьями», «Сон», «Где-то в поле возле Магадана...», «Это было давно...» и другие? В них никакого «обывзествления» и ничего монументального, – зато с избытком истинной сердечной теплоты, той высшей человеческой мудрости, которая даётся испытаниями всей жизни. Разве же это – «мертвенное», «мертвящее» искусство?..

В стихотворении «Город в степи» А. Пурин увидел чуть ли не образы руин Пальмиры и Вавилона и – более того – «даже кумир Молоха или Ваала», будто бы изображённых Заболоцким. Исследователь приводит в доказательство строки из этого стихотворения:

Кто выстроил пролёты колоннад,
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,
Кто средь степей разбил испепелённых
Фонтанами взрывающийся сад?
А ветер стонет, свищет и гудит,
Рвёт вымпела, над башнями играя,
И изваянье Ленина стоит,
В седые степи ружья простирая.

Речь здесь – о Караганде, куда поэт с семьёй попал в 1945-м.

...Автор этой книги – родом из Караганды и помнит, каким был степной город примерно в те же годы. Он возник совсем недавно, в начале тридцатых, в безлюдной, совершенно необжитой и не годной для обитания местности. До архитектурных ли красот было тем, кто поначалу ютился в вырытых им самими землянках? Конечно, никакими «пролётами колоннад» там и не пахло. Не было ни гирлянд на фронтонах, ни тем более садов с фонтанами. А «изваянье Ленина», которое критику чудится

каким-то чудовищным Молохом или Ваалом, представляло из себя типовой гипсовый памятник в человеческий рост на таком же дешёвом «дежурном» постаменте перед горисполкомом. Вот ветер – да, ветер был: это единственная достоверная деталь. Всё остальное – чистая фантазия Заболоцкого, горькая по своей сути. Гротеск ли это – но не тот броский, открытый, как в молодости, в «Столбцах», – а ушедший, как угольные шахты, на глубины человеческого страдания (и народного подвига одновременно)? А может, скорее, тайное трагедийное действо, в нарочитом гриме социалистического реализма?.. Об этом, вполне быть может, говорит как раз то сталинско-ампирное словечко *колоннады*. Сдаётся мне, в этом пышном слове Николай Заболоцкий, только что вернувшийся из заключения, зашифровал образ Караганды, построенной тяжким трудом подневольных людей в голой степи. Ведь он сам все годы заключения обретался – в *колоннах*, то есть в строительных подразделениях НКВД. (Его адреса на Дальнем Востоке так и назывались: «колонна комендантская», «колонна 51».) Без сомнения, оказавшись в Караганде, одном из центров ГУЛАГа, он сразу понял, что это, по сути, одна большая колонна. В образе «испепелённые степи» Заболоцкий намёком говорит об испепелённых судьбах тех, большей частью подневольных, людей, что в считанные годы перед войной построили *третью всесоюзную кочегарку*, так пригодившуюся стране во время оккупации Донбасса...

Но вернёмся к тому, как осмысливают исследователи переход Николая Заболоцкого на классическую стезю. Вот что пишет Ирина Роднянская:

«Так или иначе, в “Столбцах” уже совершён прорыв сквозь частокол “нового искусства” – и совершён (сколь ни условно такое разделение) не художником, а человеком. Там, где “художник” пока ещё принимает правила игры, навязанные антидуховной эстетикой, и даже находит в этом удовольствие – от свободы рук, “человек” неожиданно заявляет, что он куда как “восхищён”, но ему почему-то всё же нестерпимо тошно. Или, говоря начальными словами поэмы “Людейников”:

Как бомба в небе разрывается
и сотрясает атмосферу, –
так в человеке начинается
тоска, нарушив жизни меру.

Тоска эта в Заболоцком была тоской по полноценному гнозису, недоумением перед загадкой смерти. Он чувствовал, что материя и стоящий перед нею “бедный воитель” – человеческий разум, не имея духовного соединительного звена, обречены на взаимонепроницаемость и взаимные терзания, на “нестерпимую тоску разьединенья”. И эту связь, придающую вселенной “стройность” и обеспечивающую соответствие между природой и сознанием, он искал в космологии Циолковского и Хлебникова, в эволюционных теориях. Иные ответы утешали его, иные оставляли при подавленных сомнениях. В “Лесном озере”, написанном в 1939 году в местах отдалённых, его поэтическая мысль классически воссоединяет Истину, Добро и Красоту, обнаруживая их в сущностной глубине мировой жизни. <...>

А к характеристике “Столбцов” не мешает добавить своего рода мораль. “Новое искусство” ведёт в тупик, – взятое в самодостаточности своих рекомендаций, методов и представлении о мире. Но с тех пор как оно пришло в культуру, на прежнее стремление к гармонии легла тень проблематичности, и красота стала нуждаться в оправданиях. “Новое искусство” как бы предложило альтернативу и лишило художника старой уверенности, что он – жрец “единого прекрасного”, посреди всех мировых ужасов, так или иначе свидетельствующий об идеале. “Единое пре-

красное” в наступившую эпоху не может само вытащить себя за волосы, не может собственной эстетической силой вернуть свою репутацию абсолюта. И всякий раз, когда художник, начинавший в границах “нового искусства”, покидает его территорию (непреренно возвращаясь к классическим понятиям), – это не “авангард” находит в себе источник плодотворного саморазвития, – нет, это сквозь него прорывается человек, при условии значительности своего сердечного и умственного мира, и уводит за собой художника».

Зрелое и точное суждение... Собственно, оно – в духе самого Заболоцкого, скавшего ещё в 1936 году в своём «покаянии» о «грехах» формализма следующее: «Формалистическое искусство может достигнуть огромного совершенства, но в нём нет простой человеческой правды, которая и составляет самый секретный секрет всяческого искусства, которая делает искусство народным».

...Да, мир поймал его (а кого мир так или иначе не уловил в свои сети!) – но всё равно его дух оставался свободным. И – в продолжение оборванного А. Пуриным на первых строфах стихотворения «Вчера, о смерти размышляя...» – вспомним то, что было дальше:

И я – живой – скитался над полями,
 входил без страха в лес,
 и мысли мертвецов прозрачными столбами
 вокруг меня вставали до небес.
 И голос Пушкина был над листвою слышен,
 и птицы Хлебникова пели у воды.
 И встретил камень я. Был камень неподвижен.
 И проступал в нём лик Сковороды.
 И все существованья, все народы
 нетленное хранили бытие,
 и сам я был не детище природы,
 но мысль её! Но зыбкий ум её!

В классике, в её тайнах, интуиции, мысли, в её поющей музыке (вспомним, в *столбцах* всё скрежетало, лязгало, гремело...) Николай Алексеевич Заболоцкий находит свою обновлённую душу и сердечную связь с миром и вечной жизнью.

Глава пятнадцатая **АРЕСТ**

ПОД НЕУСЫПНЫМ ОКОМ КРИТИКИ

Ни покаяние в формалистических «грехах», ни «Горийская симфония» с «Великой книгой», в которых славился товарищ Сталин, ни публицистические стихи и советские оды не избавили Николая Заболоцкого от пристрастного и подозрительного внимания литературной критики. Он получил короткую передышку, и только. Его зоилы затаились, приутихли, дожидаясь своего часа. Тем временем поэт напряжённо работал над переводом Шота Руставели.

5 апреля 1937 года в его семье был праздник: родилась дочка Наташа.

Никита Заболоцкий пишет:

«Вечером Николай Алексеевич пришёл к Гитовичам и с гордостью заявил:

– Сегодня днём у меня родилась младшая дочь.

И несмотря на то что у него был один сын и одна дочь, он с тех пор часто говорил: “мой старший сын” и “моя младшая дочь”. Конечно, у Гитовичей выпили по поводу такого торжества, и все вместе отправились в квартиру этажом ниже, как раз под Гитовичами, – к Шварцам. Сильва Гитович запомнила, что “Николай Алексеевич сидел за шварцевским столом довольный, умиротворённый, сдержанный и с горделивой важностью поднимал за бокалом бокал”».

В третьем номере «Литературного современника» у него вышла крупная подборка стихотворений. Её предваряла фундаментальная статья Николая Степанова ««...» последние произведения Н. Заболоцкого, – писал он, – представляют решительный перелом в его творчестве, начало нового этапа, знаменующего выход поэта на широкую дорогу современной советской тематики и реалистических принципов поэтического мастерства». Критик уверенно заявлял о том, что мастерство Заболоцкого, «освобождённое от пут формалистической искусственности и идейно возмужавшее», несомненно, будет расти и впредь. Не забыл упомянуть о глубоком интересе поэта к переводам грузинской классики и к народной поэзии.

Казалось бы, всё сделал Николай Леонидович Степанов, чтобы публично утвердить друга в глазах *общественности* в его новом статусе – поэта «на правильно найденном» творческом пути – и таким образом отвести от него политические нападки в тревожное время. Однако решающее мнение было не за литературными, а за партийными изданиями. В «Ленинградской правде» тут же выступил некий П. Сидорчук. Кратко отметив «большой идейный и художественный рост» поэта в «Горийской симфонии» и «Седове», он обрушился на редакцию «Литературного современника» с обвинениями в том, что она «сочла возможным» напечатать и старые стихи, «повторяющие зады “Столбцов” и “Торжества земледелия”»:

«Ясно, что эти стихи ничего общего не могут иметь с советской поэзией, что эти стихи не просто далеки от “Горийской симфонии” того же автора, а **враждебны** ей по всему своему духу.

Почему же Заболоцкий, громко объявивший о своём “прощании с прошлым”, даёт в печать свои старые, осуждённые советским читателем стихи, почему печатает их “Литературный современник”? Получается не “прощанье с прошлым”, а амнистирование прошлого на том основании, что, мол, поэт написал несколько хороших стихов».

Вот что любопытно: в этой заметке приведены две цитаты, которые через год будут буквально повторены в политическом доносе на поэта, написанном недавним рапповцем Н. Лесючевским по заказу НКВД, – они станут основой обвинительного заключения. (Всё-таки бывших рапповцев не бывает!..) Если П. Сидорчук, приводя эти строки, лишь намекает, что «юродивая философия» Заболоцкого может иметь «тайный смысл», по духу враждебный, то Н. Лесючевский в своём доносе скажет прямо:

««...» под видом “естествоиспытателя”, наблюдающего природу, автор рисует полную ужаса, кошмарную, гнетущую картину мира советской страны.

У животных нет названья –
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье –
Их невидимый удел.

За “животными” без труда можно расшифровать людей, охваченных коллективизмом, людей социализма.

Или ещё более откровенные строки:

Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.

На безднах мук сияют наши воды,
На безднах горя высятся леса!»

То ли Лесючевский просто позаимствовал цитаты из «Ленинградской правды» то ли он и никому не известный П. Сидорчук – одно и то же лицо (что вполне возможно, поскольку довольно многие литературно-критические статьи того времени ничем не отличаются от доносов, проходивших у следователей как неопровержимые доказательства).

Выступление «Ленинградской правды» вызвало краткую полемику в литературной печати – некоторые критики попытались отстоять нового Заболоцкого от обвинений, однако итог этому спору подвела «Литературная газета» в лице давнего гонителя поэта Ан. Тарасенкова. В одной из статей он усомнился в художественной полноценности таких стихотворений, как «Север», «Седов» и «Горийская симфония». Подчеркнув при этом, что «мудрое и неустанное сталинское руководство нашей литературы со стороны коммунистической партии» помогает разоблачать и «выкорчёвывать из литературы *агентуру врага*». (Курсив мой – В. М. Лексика литератора, как видим, вполне достойна оперативного работника НКВД, в лучшем случае – штатного, в худшем – внештатного.) Затем во второй статье, целиком посвящённой новым стихам Заболоцкого в периодике и его «Второй книге», критик «ударил» по некоторым строфам из «Горийской симфонии» о «вожде народов великом Сталине»:

«Мне думается, что эти строки Заболоцкого глубоко ошибочны, – в них формирование гениальной личности Сталина рассматривается исключительно в одном плане – под влиянием условий первобытной кавказской природы. К сожалению, социальная обусловленность развития личности вождя народов начисто игнорируется Заболоцким, о ней он не говорит ни слова».

По тем временам, удар под дых.

Но это случилось 28 февраля 1938 года. А в 1937-м Заболоцкому жилось ещё относительно спокойно. То было его последнее вольное лето...

Молодая семья... дети под присмотром няни... озеро под Лугой, сосны... комната с верандой на даче... Поэт плотно сидел за переложением для детей знаменитой поэмы Руставели; изредка прогуливался по лесу или вдоль берега озера. По своему обыкновению, внимательно разглядывал старые деревья, коряги, муравьиные кучи, жуков. Порой к нему присоединялся Николай Степанов, тоже снявший неподалёку дачу, и они обменивались новостями, вели беседы. Бывало, поэт уезжал по делам в город: в тот год он то и дело заключал договоры на издание новых книг.

Ленинградцы жили тем летом в тревоге: кругом шли аресты. Дымок из печных труб и едкий запах никого не удивлял: кто-то жёг свои бумаги...

В начале июля поэт узнал об аресте Олейникова.

Н. Н. Заболоцкий пишет в своей книге:

«Евгений Львович Шварц рассказал Николаю Алексеевичу о своей последней встрече с их общим другом. Незадолго до ареста только что вернувшийся с юга Олейников встретил Шварца и с мрачным видом говорил ему о всеобщей подозрительности, при которой становится трудно жить. Он рассказал, что комендант дома на канале Грибоедова Котов тайно собрал домработниц писателей и объявил им, что их наниматели представляют серьёзную опасность для советской власти. Тем, кто поможет разоблачить врагов народа, комендант обещал постоянную городскую

прописку и комнату в освободившейся квартире. И эти несчастные деревенские женщины, нашедшие временное пристанище в городе, уже шептались друг другу о тех счастливицах, которые будто бы получили жилплощадь в награду за донос».

Все они – и Заболоцкий, и Шварц, и Олейников – были соседями по дому на канале Грибоедова.

Двоюродный брат Евгения Шварца, актёр и чтец Антон Шварц, был одним из последних, кто видел Олейникова. Он встретил его днём на улице и сначала не обратил внимания, что тот не один: по бокам двое незнакомцев. По привычке весело окликнул:

– Как дела, Коля?

– Жизнь, Тоня, прекрасна! – ответил поэт.

«И только тут я понял...» – впоследствии вспоминал А. Шварц.

Олейникова обвинили в троцкистской деятельности и в шпионаже на Японию. (Ну, троцкизм – понятие расплывчатое, в троцкизме всякого подозревали. Но чтобы донской казак оказался японским шпионом? Удивительно! Это как Стеньку Разина обвинить в пособничестве самураям...) 24 ноября он был расстрелян.

Последние стихи его и строки из недописанного чуть-чуть невнятные, что ему ранее было совсем несвойственно, грустны...

Графин с ледяною водою.
 стакан из литого стекла.
 Покрыт пузырьками пузырь с головою,
 И вьюга меня замела.

Но капля за каплею льётся –
 Окно отсырело давно.
 Водю пустого колодца
 Тебя напоить не дано.

Подставь свои губы под воду –
 Напейся воды из ведра.
 Садися в телегу, в подводу –
 Кати по полям до утра.

Душой беспредельно пустою
 Посметь ли туман отвратить
 И мерной водой ключевою
 Холодные камни пробить?
 1937

Будто бы он уже «взят» и на допросе, а душа рвётся на волю – зная, что воля навсегда заказана...

Неуловимы, глухи, неприметны
 Слова, плывущие во мне, –
 Проходят стороной – печальны, бледны, –
 Не наяву, а будто бы во сне.

.....
 Чужой рукой моя рука водила <...>.
 1937

Олейников увлекался – и всерьёз – математикой, о чём никому не говорил...

Я положил перед собой таблицу чисел
И ничего не мог увидеть – и тогда
Я трубку взял подзорную и глаз
Направил свой туда, где по моим
Предположениям должно было пройти
Число неизреченного...

(«Фрагменты», 1935–1937)

И ещё – был охотником...

Осенний тетерев-косач,
Как бомба, вылетает из куста.
За ним спешит глухарь-силач,
Не в силах оторваться от листа.
Цыплёнок летний кувыркается от маленькой дробинки
И вниз летит, надвинув на глаза пластинки. <...>

(«Фрагменты», 1935-1937)

Дробинка – пластинки, надвинутые на глаза глухарёнка, – и пуля в уме...

Тогда же, в ноябре, разогнали редакцию Детгиза, некоторых арестовали, а руководителя детского издательства С. Маршака на собрании обвинили в потворстве вредителям. Так чекисты принялись раскручивать большое дело на ленинградских писателей...

Заболоцкий про всё это узнал с опозданием: в начале ноября он уехал в Сочи на грязи – лечить сосуды ног: сказывалась перенесённая в молодости цинга.

12 ноября он писал В. В. Гольцеву:

«Погода здесь стоит отличная. Морские купанья мне запрещены, но купаются здесь уже только старые энтузиасты этого дела, т. к. в море холодновато. Солнце днём, однако, припекает порядочно, и немало народу разгуливает в белых костюмах.

Живу в санатории Наркомзема. Учреждение приличное, и любопытен состав отдыхающих: знатные комбайнёры, животноводы, колхозники, которым есть что порассказать и у которых есть чему поучиться. Интернационал полный: казах отдыхает рядом с дагестанцем, чеченец – с русским и пр.

Думаю пробыть здесь до 7 декабря, после чего двинусь в Ленинград или Тбилиси, смотря по обстоятельствам».

Вышло иначе: из Сочи он отправился в Махачкалу, где в составе писательской делегации присутствовал на прощании с Сулейманом Стальским. В конце декабря приехал в Тбилиси для участия в руставелевских торжествах. Как переводчик великого грузинского поэта выступил с речью на юбилейном пленуме Правления Союза писателей; получил почётную грамоту ЦИК Грузии.

В начале 1938 года поэта вновь призвали в армию на двухнедельную переподготовку. Сыну Никите запомнилось, какую замысловатую игрушку отец привёз ему после учений. Это были разноцветные кувыркающиеся клоуны с чашками. «В верхнюю чашку нужно было положить шарик, под его тяжестью клоуны наклонялись, передавая шарик друг другу, а затем он катился и попадал в одну из лунок. Счастье игрока зависело от того, в какую лунку попадёт шарик». Оба вовсю забавлялись, осваивая игру...

Между тем шарик судьбы Николая Заболоцкого, прыгая, катился по каким-то неведомым желобам.

В общем коридоре, куда выходила их дверь, квартиры пустели одна за другой: соседей-писателей забирали в зловещее здание на Литейном, прозванным ленинградцами «Большим домом». Не прошло и месяца после статьи Ан. Тарасенкова в «Литературной газете», как настала очередь Заболоцкого.

«ВОТ ДО ЧЕГО МЫ ДОЖИЛИ...»

«Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

– Эти товарищи хотят говорить с вами, – сказал Мирошниченко.

Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

– Мы должны переговорить с вами у вас на дому, – сказал он.

В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чём дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

– Вот до чего мы дожили, – сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер».

Так начинается мемуарный очерк Заболоцкого «История моего заключения», написанный восемнадцать лет спустя, в 1956 году. Николай Алексеевич решил записать свои воспоминания вскоре после того, как прошёл XX съезд партии, осудивший политические репрессии конца тридцатых годов. Накануне он на собрании писателей услышал с другими писателями полузакрытое письмо ЦК КПСС о культе личности Сталина, пришёл домой взволнованный...

А перед арестом поэт работал в Доме творчества в Елизаветино под Ленинградом, – оттуда его и вызвали в город телеграммой. Тогда он только начал работу над стихотворным переложением «Слова о полку Игореве» и попутно сочинял поэму «Осада Козельска». Несколько строф этой поэмы уцелели – сохранила жена, Екатерина Васильевна. Как ни укрывался Заболоцкий от страшных новостей, чтобы все силы отдать работе, тяжкое настроение отразилось в тех строках:

Собор, как древний каземат,
Стоит, подняв главу из меди.
Его вершина и фасад
Слепыми окнами сверлят
Даль непроглядную столетий.

Войны седые облака
Летят над куполом, и, воя,
С высот свергается река,
Сменив движенье на кривое,
А тут внутри – почти темно.
Из окон падающий косо
Квадратный луч летит в окно,
И божья мать кривоноса
И криволица – в алтаре
Стоит, как столп, подняв горе
Подобье маленького бога.
Из алебаstra он. Убого

И грубо высечен. Но в нём
Мысль трёх веков горит огнём. <...>

Мрачная картина. Кривое – свергается сверху, искривляя зрение и Божественные образы...

«Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьёй. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал её, она впервые пролепетала: “Папа!” Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались».

Никита Заболоцкий, ему было тогда шесть лет, запомнил, как забирали отца. Как перетрясали книги (в библиотеке было около двух тысяч томов), как изъяли тупой кинжал, подаренный грузинами. От матери он потом узнал, что она всё время сидела рядом с отцом, а под ними, в ящике кушетки, лежала «страшная улика» – переплетённая книга стихов Заболоцкого, куда была вложена записка Бухарина с отказом в помощи в издании рукописи. Бывший «любимец партии» был только что, в марте, осуждён и расстрелян, и кто знает, как могли истолковать следователи переписку с главой *правотроцкистского блока*.

Продолжим выдержки из «Истории моего заключения»:

«Начался допрос, который продолжался около четырёх суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос вёлся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Ивановича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

– Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? – спрашивал следователь. – Их уничтожают!

– Это не имеет ко мне отношения, – отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылаясь на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.

– Действие Конституции кончается у нашего порога, – издевательски отвечал следователь».

Поначалу его не били – изматывали морально и физически. Слепящий свет электроламп в глаза, требования сознаться под вопли истязуемых за стенами... Следователи сменялись, и он уже не слишком различал, кто сидит перед ним в темноте. На третьи сутки отекали ноги, и Заболоцкий от боли разорвал ботинки. Голова плыла, как в тумане. Все силы уходили на одно – никого из товарищей ненароком не оговорить... По вопросам следователей он понял: те решили, что писатели тайно создали контрреволюционную организацию или же пытаются сколотить дело таким образом. Во главе – Николай Тихонов, остальные участники – ранее арестованные Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, Борис Корнилов. Но дознавателям этого мало: нужны и другие враги, чтобы процесс получился крупным. У Заболоцкого добивались показаний на его друзей: Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского, расспрашивали про Тициана Табидзе. Ему зачитывали

«изобличающие» слова из протоколов допросов Лившица и Тагер – он не верил и требовал очной ставки...

«На четвёртые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой её странице я видел всё новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить моё тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество своё перед этими людьми, которым не удаётся сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, ещё теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушённый ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар, в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлёбываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришёл в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моею беззащитностью. Они втащили меня в камеру с железной решётчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжёлая железная койка. Я подтащил её к решётчатой двери и подпёр её спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил её к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут своими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся, насколько мог, и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струёй в угол и, после долгих усилий, вломилась в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности, – настолько велики были следы истязаний».

Он очнулся от сильной боли, прикрученный к перекладинам койки. Ему чудилось, что камеру заливают вода и скоро он утонет в потоке. Он кричал, требуя, чтобы «какой-то губернатор» освободил его. Сознание то и дело пропадало... Едва запомнилось, как потом его волокли по двору... Очнулся – в больнице для умалишённых.

«Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние моё было тяжёлое: я был потрясён и доведён до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания ещё теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у неё тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на пер-

вых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаянья я торопился рассказать врачам обо всём, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: “Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом”. Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи, если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя её Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишённый, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моём изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикуюлируя, или неподвижно лежали на своих постелях».

...В одном фантастическом романе на героя обрушивается мощная психическая атака, которая грозит смять его внутренний мир, – но человек защищается, выставив как щит простенькую песенку. У Заболоцкого это получилось само собой – задолго до игры воображения фантаста. Через год, в письме из лагеря, он поведал жене, как «в самые тяжёлые минуты» загородился от страшного мира с помощью колыбельной, которую Екатерина Васильевна когда-то напевала их дочери Наташе. Эта песня на слова из его стихотворения «Искушение» постоянно звучала в голове:

Баю, баюшки, баю,
 Баю девочку мою!
 Ветер в поле улетел,
 Месяц в небе побелел.
 Мужики по избам спят,
 У них много есть котят.

А у каждого кота
 Были красны ворота,
 Шубки синеньки у них,
 Все в сапожках золотых,
 Все в сапожках золотых,
 Очень, очень дорогих...

В тюремной больнице он укрывался одеялом с головой – думая, что только так можно спасти их маленькую дочь...

Врачи отделения судебно-медицинской экспертизы установили у «испытываемого» анамнез Морби: раздвоение сознания («переживал счастье, поглощённый домашними сценами, с другой стороны, понимал, “что видимое – подобие сна, а явь ужаснее”»).

Эксперты пришли к выводу, что он «перенёс острое психотическое состояние по типу реакции с перемежающимся сумеречным изменением сознания». После лечения с 23 марта по 2 апреля 1938 года врачи признали: душевно здоров и вменяем. Отметили: проявляет черты невропатии. И заключили: «В период правонарушения Заболоцкий Н. А. был также душевно здоров и вменяем».

Никита Заболоцкий пишет в биографии отца про одну санитарку, которая жалела больного и молча клала ему на тумбочку лишние куски сахара, и он съедал их...

Потом Заболоцкого вернули в ДПЗ и на время оставили в покое. Впрочем, какой покой? Поэт оказался в тесной камере, до отказа набитой людьми. Облака

человеческих испарений и невыносимое зловоние поначалу поразили его. Заключённые, узнав, что новичок – писатель, привели к нему двух других литераторов – П. Медведева и Д. Выгодского. «Увидев меня в жалком моём положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова».

УРОКИ ТЮРЬМЫ

По ночам Заболоцкий ждал: вот-вот за ним придут. Опять допрос, брань, пытки. Каждого ожидал свой черёд..

Что вспоминал он о тюрьме два десятка лет спустя? То, с чем он столкнулся, казалось ему на первых порах чем-то фантастическим, – но уроки испытанного были жуткими. «Средний человек», попав под арест, униженный, ошеломлённый, чаще всего скоро превращался в затравленное существо, испуганное и болезненно подозрительное, и обнаруживал в себе такие низменные свойства, о которых раньше не имел ни малейшего представления. «Через несколько дней тюремной обработки, – вспоминал Заболоцкий, – черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведённая на него, начинала пускать корни в его смятенную и дрожащую душу».

Поэт невольно наблюдал процесс духовного растрепания людей и все виды человеческого отчаянья. И если на следствии он не дал никаких показаний, то через годы наконец выступил как свидетель деяний тех «ничтожных выродков», которые мучили его и других, доводя некоторых заключённых до полной потери человеческого достоинства: «Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере, царапал грудь каким-то гвоздём и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключённых, быстро нашёл со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий своё человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были маленькими скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду <...>».

В камере, рассчитанной максимум на полтора десятка человек, порой набивалось до сотни заключённых. Всё на виду у всех – не спрятаться. И, как признавался Заболоцкий, эта жизнь на людях была добавочной пыткой, но в то же время она помогала многим перенести их невыносимые мучения.

Днём текла вялая жизнь – допросы начинались ночью. В темноте загорался огнями весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте. Сотни офицеров и сержантов госбезопасности приступали к работе. Раскрытые окна кабинетов следователей выходили в огромный двор, и вскоре он весь оглашался стонами и душераздирающими криками допрашиваемых. Порой во двор загоняли мощные грузовики и заводили на всю мощност моторы, чтобы глушить эти вопли. «Вся камера, – вспоминал Заболоцкий, – вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробежал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключённых. <...> за

треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неопишное, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени».

Заклѳченных по одному выдёргивали на допросы. А возвращались они порой без чувств – и падали на руки сокамерников. Иногда и вовсе не приходили обратно – входил тюремщик и молча забирал вещи...

«Издательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, то есть попросту говоря всякий, кто не хотел быть клеветником.

Д. И. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печени (фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды, на пороге на допрос, меня по ошибке втокнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в чёрном платье ударила следователя по лицу и тот схватил её за волосы, повалил на пол и стал пинать её сапогами. Меня тотчас же выволокли из комнаты, и я слышал за спиной её ужасные вопли».

Заклѳченные не могли понять, чем объясняются эти бесчеловечные методы следствия? Им казалось, что следователи принимают их за каких-то страшных преступников. Заболоцкого поразил рассказ соседей по камере про одного несчастного, который во время избиений на допросах всё время принимался кричать: «Да здравствует Сталин!» – желая «доказать свою правоту». Конечно, это ему нисколько не помогало. «В моей голове, – признавался поэт, – созрела странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. (...) Только теперь, восемнадцать лет спустя, жизнь, наконец, показала мне, в чём мы были правы и в чём заблуждались...»

В чём именно сам он был прав, а в чём заблуждался, поэт не пояснил.

Понял ли он, что было самым фантастическим в той мясорубке под названием «борьба с врагами народа», куда тогда угодил? Органы безопасности, как и все другие в стране, были плановым «предприятием», а планы советская власть намечала всегда и во всём. Дано задание: разоблачить столько-то врагов народа – выполняй. Редактор Детгиза А. Любарская, арестованная в 1937 году, вспоминала позже, что случайно подслушала перед допросом, как какой-то начальник распекал следователя. К концу недели, приказал он подчинённому, у меня на столе должны лежать: «8 показаний финских, 12 – немецких, 7 – латышских, 9 – японских. От кого – не важно».

В доме предварительного заключения Заболоцкий провёл несколько месяцев. После больницы довольно долго его не вызывали на допросы. Следствие по каким-то причинам затормозилось. Скорее всего, чекисты не получили отмашки на арест Николая Тихонова, – а без главы ленинградских литераторов какой же настоящий писательский процесс!.. Но Тихонова они не смогли *оформить*: серьёзных доказательств не имелось, к тому же – любимец Сталина. Одних показаний Лившица и Тагер о том, что Тихонов «протаскивал» в печать «вредителей»: Заболоцкого, Ахматову, Вагинова, Корнилова и других, было маловато. Тайная контрреволюционная организация – это нечто большее, нежели печатание «враждебных» стихов.

Заболоцкого допрашивали ещё несколько раз. Теперь допросы проходили без побоев и мучений, – поэт по-прежнему отрицал все обвинения следствия. Как ни расспрашивали его о Федине, Маршаке, Олейникове, Хармсе, Введенском, Тициане Табидзе и других, он ничего не *показал*, что бы подтвердило, будто они «вредители». В его деле сохранился протокол последнего допроса от 22 июня 1938 года. На все наводящие вопросы о якобы «антисоветской деятельности», «антисоветской группе писателей», «контрреволюционной организации» ответ один: «отрицаю» «не признаю», «не знаю», «общение с Тихоновым было чисто деловым» и т. д.

Чтобы как-то завершить его дело, следователи призвали на помощь консультанта НКВД Н. В. Лесючевского, который *на гражданке* работал заместителем редактора журнала «Звезда». Опыт у недавнего рапповца имелся: в мае 1937-го он написал рецензию-донос на поэта Бориса Корнилова, которого вскоре расстреляли. 3 июля 1938 года он представил следствию точно такой же отзыв на Заболоцкого. Этот донос, извлечённый из архивов органов безопасности, впервые был напечатан в полном виде в 1989 году. Как говорится, рукописи не горят, – особенно те, которые лежали в папках под ведомственным грифом «Хранить вечно».

Как видно, критик писал свою рецензию с явным удовольствием. Оно и понятно, стеснять себя в выражениях, как это приходилось делать в открытой печати, никакой нужды – можно было быть вполне откровенным.

Обэриуты? – Реакционная группка; Заболоцкого объявила «великим поэтом». «Столбцы»? – Кривое зеркало советского быта. «Заболоцкий юродствует, кривляется, пытаясь этим прикрыть свою истинную позицию. Но позиция эта ясна – это позиция человека, враждебного советскому быту, советским людям, ненавидящего их, т. е. ненавидящего советский строй и активно борющегося против него средствами поэзии».

Поэма «Торжество земледелия»? – Наглое контрреволюционное «произведение». «Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ, мог написать этот клеветнический, контрреволюционный, гнусный пасквиль».

И прочее в таком же духе.

Вывод: «таким образом, “творчество” Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма». (Непременное «сталинское» трёхкратное вбивание гвоздя-мысли.)

Конечно, следователю Лупандину – обычному оперуполномоченному, с его «низшим» образованием, оставалось только верить на слово этому маститому литературному консультанту органов безопасности.

«Ни Олейникову, ни Табидзе, ни Владимиру Матвееву, чьё имя также, судя по последующим ходатайствам Заболоцкого, часто звучало на следствии, уже было не помочь, – пишет В. Шубинский, – но тех, кто ещё не был на тот момент арестован, молчание Николая Алексеевича спасло. В том числе и Хармса, и Введенского. В 1936-м и в начале 1937 года Заболоцкий временами проявлял слабость перед соблазнами успеха и карьеры (какие уж там «соблазны»!.. – выживал под гнётом критики, чтобы совсем не затоптали. – В. М.), но, столкнувшись с явным и беспощадным насилием, он оказался сильнее многих. Сами Хармс и особенно Введенский в 1932 году подобной стойкости не проявили, а ведь их не пытали и особо не мучили... Спас Заболоцкий, конечно, и самого себя, не от лагеря, но от немедленной смерти. Уступчивость тех, кто, как Стенич, послушно подписывали всё, что требовалось (за избавление от побоев, за пачку папирос), обернулась против них самих: и Стенич, и Лившиц, также не выдержавший издевательств и давший все требовавшиеся от него показания, были расстреляны».

ЭТАП

В августе прозвучала команда: «С вещами на выход!» – Заболоцкого переводили из ДПЗ в пересылочную тюрьму «Кресты».

Через многие годы он вспоминал:

«Я помню этот жаркий день, когда, одетый в драповое пальто, со свёртком белья под мышкой, я был приведён в маленькую камеру Крестов, рассчитанную на двух заключённых. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счёту. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в Крестах.

В камере стояла одна железная койка и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен, как ребёнок».

К этому времени было уже подписано обвинительное заключение. В нём говорилось о ликвидации антисоветской «троцкистско-правой» организации среди писателей Ленинграда. Утверждалось, будто бы она была создана в 1935 году по заданию враждебного центра в Париже и оттуда же руководилась. Про Заболоцкого «установили», что он входил в одну из групп этой организации с 1931 года – то есть ещё за четыре года до её создания. И не только «являлся» автором антисоветских произведений, которые использовались для контрреволюционной агитации, но и по заданию троцкистской организации «осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими буржуазными националистами».

Суда не было – так называемое Особое совещание «впяло» поэту пять лет исправтрудлагеря.

С приговором его ознакомили только в начале октября – перед этапированием в исправительно-трудовой лагерь. Объявили: разрешено свидание с родными. Николай Алексеевич тут же написал жене письмо (от 5 октября):

«Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой Наташечка, здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа моя всегда с вами. Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя! Трудно тебе будет, но нужно сохранить и себя, и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье потом вернётся к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на свидание. Может быть, успеешь. <...>»

Он просил принести самое необходимое: вещевого мешок «на толстых ляжках», пару мешочков для продуктов, бурки, ботинки с галошами, старые брюки, портянки, немного из белья.

«Не забудь захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда буду твёрд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, может быть, успеешь. <...> Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой возможности. У меня пропали все старые болезни, и я здоров вполне. Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке, сегодня 1 ½ года. Мой дорогой праздник. Никитушка, будь умным. Целую дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа *Н. Заболоцкий*.

Арсенальская набережная, д. 5».

Свидание с женой состоялось в конце октября. Екатерина Васильевна, по его словам, держалась «благоразумно». Семью выслали из Ленинграда, – жена избрала местом ссылки город детства мужа – Уржум.

В «Истории моего заключения» Заболоцкий написал: «Я получил от неё мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная, увидимся ли ещё когда-нибудь...»

5 ноября он успел отправить жене ещё одно письмо из «Крестов». Знал, семья пока в Ленинграде. «Душа болит за вас. (...) Постоянно думаю о вас». Сетовал, что в Уржуме, по слухам, нет белого хлеба, а это плохо для детей.

Для шестилетнего Никиты прибавил в письме крупными печатными буквами: «Родной мой мальчик, любимый мой Никитушка! Теперь ты стал настоящим путешественником. Нравится ли тебе Уржум? Зимой ты будешь кататься там на санках. Не простужайся, родной. Люби нашу милую мамочку и помогай ей, чем можешь. Люби и береги сестрёночку – она ещё такая маленькая. Папа крепко-крепко любит тебя. Жди папу, он вернётся. Только будь, милый, умненьким и терпеливым. Твой папа». Это было первое письмо сыну – потом, из мест заключения, их будет ещё много...

7 ноября жена с детьми отправилась в Уржум...

А 8 ноября его этап тронулся на восток. Через два дня они добрались до Свердловска, и там почти месяц Заболоцкий провёл в пересыльной тюрьме. Однажды к нему подошёл средних лет седой человек. Представился: Гурген Татосов, юрист из Грозного, здесь уже месяц. Рассказал: по тюремной глухонемой азбуке узнал, что к ним прибыл поэт Заболоцкий, которого на воле он читал и любил. После долгой беседы они условились держаться вместе на этапе. Однако не вышло – попали в разные вагоны...

Никаких сведений о своей семье поэт не имел – и писал жене в Уржум до востребования. 24 ноября сообщал ей, что готовится в дальний путь. Куда, не знал – «очевидно, на восток». Советовал Екатерине Васильевне: продавай, что можно – «книги, мои костюмы, только бы дети были сыты. Это самое главное». Просил быть благоразумной и не отчаиваться. Заверял: « (...) все решения твои я одобрю и буду всегда верным тебе».

Письма в тюрьме № 1 позволяли писать три раза в месяц, а с воли можно было получать без ограничения. 4 декабря Заболоцкий отправил в Уржум новое письмо. Предупредил, ожидает этапа, и дорога – «вероятно, на восток» – может продлиться долго. Сообщал, что духом не падает и надеется на пересмотр дела и на освобождение.

Между тем Екатерина Васильевна добралась до Уржума. Переезд был нелёгким, благо, помог муж её сестры – скульптор Аполлон Николаевич Шишкин. Он взялся сопровождать родственников до самого Уржума. Друг юности Заболоцкого Николай Георгиевич Сбоев дал им адрес матери своей жены, чтобы было где найти приют по приезду. Впоследствии, четверть века спустя, Екатерина Васильевна писала в своих коротких воспоминаниях:

«Дорога была трудная, в Котельниче предстояло ехать с железнодорожного вокзала на пристань. Грузились в парходик ночью и потом плыли по реке Вятке до пристани Цепочкино, что за 12 километров от Уржума. Не знаю, как бы я с полторагодовалой дочерью и с шестилетним сыном осилила дорогу, если бы не наш провожатый Аполлон Николаевич. Везде он находил место, где можно приткнуться с детьми. В Цепочкине ему удалось нанять попутный грузовик, который повёз нас в Уржум.

Было начало зимы – мягкий мороз и яркий солнечный день. После всего, что мы перенесли в Ленинграде и в дороге, город показался таким уютным. Невысокие до-

мики, впереди колокольня, земля присыпана пуховым, блестящим на солнце снежком. И сознание, что я въезжаю в город, где жил, ходил по этим улицам молодой Коля Заболоцкий, как-то ласково успокаивало меня. Мы подъехали к дому 22 на улице Чернышевского, где снимала комнату мать жены Сбоева – Елена Андреевна Польшнер – учительница музыки. Она приветливо встретила нас. Хозяйка домика Евдокия Алексеевна была строга, молчаливо-замкнута, но в глазах её светилось сочувствие. Скоро выяснилось, что она может сдать нам комнату, и мы оказались с крышей над головой, да ещё с людьми, доброжелательно к нам расположенными. Так началась наша ссылка в Уржуме, как потом оказалось, посланная провидением, чтобы облегчить нам жизнь в тяжёлые годы эвакуации из блокированного Ленинграда».

Через несколько дней Екатерина Васильевна написала мужу в свердловскую тюрьму. Её письмо (единственное из сохранившихся до 1944 года) вернулось обратно в Уржум – с отметкой «Убыл на этап»:

«Дорогой мой Коля!

Вот уже шестидневку как в Уржуме. Устроились довольно удачно. <...>

Со службой пока не вышло. Здесь педагогов по литературе избыток даже. Но и все сразу не устраивались, а со временем устроились и живут теперь неплохо. Детишки здоровы. Спасибо попутчику, который помог мне во всех дорожных хлопотах. Успели на последний пароход <...>. От Цепочкина на грузовике ехали четверо суток. За дорогу детишек не простудили. Никитушка немного огорчён. А Натальюшка весела. Говорит всё больше слов, хотя ещё плохо. Шалунья большая и баловень. Требуется, чтобы всё было по её, а не то поднимает крик. Очень мила, и все её очень любят.

Здесь сытная жизнь. Цены дешевле ленинградских. Молоко такое вкусное, что Никита с восторгом пьёт. Цена 3 р. 50 четверть. <...>

Завтра моё рождение, и я рада, что ты помнишь об этом. <...>

В Уржуме зима. <...> Гуляю с ребяташками. Никитка положил начало: съехал с горы. <...>

Твои карточки в рамке, где была моя фотография, и висят у Натальюшки над кроватью.

Целую, милый. Ребяташки уже спят, и мне пора.

Родной мой, ждём тебя.

Твоя Катя и детишки. <...>».

А его «великий сибирский этап» начался «с 5 декабря, Дня Советской Конституции». Как потом он определил в своих воспоминаниях, это была целая одиссея фантастических переживаний.

«Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там, на крышах и площадках торчали пулемёты, было великое множество охраны, на остановках выпускались собаки-овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег, завёртывали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул, и сзади, наседая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

– Шаг в сторону – открываю огонь! – было обычное предупреждение».

Шестьдесят с лишним дней они тащились на восток по Сибирской магистрали. Никто не знал, куда едут. По слухам, на Колыму, но потом оказалось не так... Сутками торчали на запасных путях без движения. За два месяца из вагона выпустили всего три раза – в Новосибирске, Иркутске и Чите. Стояла лютая зима, а вагон кое-как обогревала лишь маленькая печурка. В вагоне были двухъярусные нары. Холод загнал всех на высокие нары – в одну сбившуюся кучу. «Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замёрзнуть и не быть застреленным, подобно зачумлённой собаке...»

Кормили предельно скудно, да и то не всегда: слишком много таких эшелонов шли тогда по Сибири, и на станциях не справлялись со снабжением. «Однажды мы около трёх суток почти не получали воды и, встречая новый 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать чёрные закоптелые сосульки, выросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни».

Во время следствия уголовников было мало, а тут в вагоне Заболоцкий вплотную столкнулся с ними. «Исконные жители тюрем и лагерей, они искренне и глубоко презирали нас – разнокалиберную, пёструю, сбитую с толку толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и подлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства». Но в вагоне политических и уголовных было примерно поровну, и они разбились на две враждебные стороны. Однажды поэта чуть не прибили поленом без всякого повода – лишь в последний момент припадочного уголовника остановили дружки...

«От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счёт. Как сейчас вижу эту картину: чёрные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползём друг за другом на четвереньках по доске, освещаемой тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведёнными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудрёной цифири».

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят. Счастливец чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было».

Весь путь прошёл почти в полной темноте: два заледенелых оконца под потолком с трудом пропускали свет. Лишь по утрам кому-то удавалось глянуть наружу, где лежала бесконечная, занесённая снегом тайга...

В первых числах февраля прибыли в Хабаровск. Долго стояли там. Потом вдруг повернули обратно на Волочаевку, а за нею на север. Теперь по сторонам замелькали караульные вышки, одинаково выстроенные посёлки лагерей.

«Царство БАМа встречало нас, новых своих поселенцев. Поезд остановился, захрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный мороз, окружённый видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берёз».

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре».

ИСТОЧНИК ПРАВДЫ

Лишь под одним-единственным стихотворением Заболоцкого стоит дата – 1938 год. Она поставлена самим автором. Это – «Лесное озеро».

По мнению Никиты Заболоцкого, стихотворение было навеяно прогулкой на Глухое озеро близ Луги: там неподалёку осенью 1937 года поэт жил в Доме творчества в Елизаветино. Однако это лишь предположение. Могло быть совсем не так. Вспомним, какое было время: за людьми всё чаще приезжали чёрные «эмки» и арестованные пропадали. Многие, и уж конечно Заболоцкий, которого столько травили в печати, жили в предчувствии ареста. В такую пору поэт невольно вспоминал самое дорогое: детство, родителей, свою семью.

1938-й – год его ареста (в марте), следствия в доме предварительного заключения с побоями, издевательствами, временной потерей рассудка, а дальше «Кресты», свердловская тюрьма № 1, сибирский этап. Почти весь год – в страшных условиях, в жутком человеческом скопище. Тут не до стихов... Между тем в бумагах Заболоцкого сохранился вариант первых двух строк этого стихотворения. Где же и когда написал Заболоцкий этот свой лирический шедевр?

Сын-биограф пишет в своей книге: «Приходится сделать почти невероятное предположение: “Лесное озеро” было сложено либо в ленинградской тюрьме, либо во время этапа на Дальний Восток». То есть именно в то время, когда счастливые воспоминания сделались для поэта единственным убежищем... Глухое озеро под Ленинградом вполне могло напомнить Николаю Алексеевичу заветное, дивное в своей целомудренной красоте Шайтан-озеро – единственное озеро в Уржумском районе, расположенное в 39 километрах от города. Вполне возможно, что в юности Николай побывал там. Глубокое настолько, что его вода казалась чёрной, а набережь в ладони – прозрачна и чиста... Вот уж куда надо было пробираться «сквозь битвы деревьев и волчьих сраженья»!

(Точно так же могло быть и со стихотворением «В этой роще берёзовой»: Заболоцкий, оказавшись в 1946 году в подмосковном Переделкине, не мог не вспомнить и родные места. Поэт Светлана Сырнева, землячка Заболоцкого по Уржуму, вспоминает берёзовую рощу возле реального училища. По Яранскому тракту на север, сразу же за Уржумом, слева болотистая местность, заросли камыша («где чернеет камыш»), а справа когда-то стояли ветряные мельницы («как безумные мельницы, машут войны крылами вокруг»). Тогда как в подмосковном Переделкине камыша не встретишь, да и никаких ветряных мельниц не водилось. Впрочем, и это – лишь предположительный «адрес стиха». На самом же деле, поэт в своём воображении видит разом всё, чем прежде было замечено его зрением и так или иначе отобразилось в памяти.)

Как бы то ни было, очевидно одно: поэт сложил стихотворение «Лесное озеро» в уме, а записал на бумаге лишь в 1944 году, когда его частично освободили по директиве НКВД.

То есть шесть лет заключения, когда он не имел никакой возможности писать да и по существу отказался от стихов, Николай Заболоцкий жил, храня это стихотворение в памяти и, быть может, порой уточняя какие-то образы и слова.

Неволя, горький взгляд на историю и на человеческое существование, конечно, отразились в этом произведении (хотя оно и продолжает его прежние, натурфилософские мысли и наблюдения):

Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

*Сквозь битвы деревьев и волчи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищными тварями правит природа,
Пробрался к тебе я и замер у входа,
Раздвинув руками сухие кусты.*

*В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в *трущобах* такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичье,
Но спит, убаюкано сладостным сном?
Один лишь кулик *на судьбу негодует*
И в дудку растенья бессмысленно дует.*

*И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной,
Так око больного в тоске беспредельной
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремлённое к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь ёлки *рогатые лица*,
К источнику правды, к купели своей
Склонились воды животворной напитокся.*

Мрак – и сияющий свет; трущобы – и целомудренная чистота; больная природа – и животворная вода.

Стихотворение религиозно в лучшем смысле этого слова: в нём словно бы дышит и тайна Рождества («При первом сиянье вечерней звезды»), и тайна Крещения и причащения («К источнику правды, к купели своей / Склонились воды животворной напитокся».) И свой мимолётный портрет рисует автор, набрасывая тогдашнее состояние души и даже сам процесс сочинительства:

*Один лишь кулик на судьбу негодует
И в дудку растенья бессмысленно дует.*

Поэт и филолог Светлана Кекова назвала это стихотворение подлинным шедевром, жемчужиной лирики Н. Заболоцкого. В своём анализе произведения она пишет, что «экспозиция стихотворения даёт нам возможность увидеть мир природы, в которой царствует закон взаимного уничтожения, войны всех со всеми». И подмечает: поэт переводит природное – в человеческое.

«...» перед читателем последовательно разворачивается сравнение озера с оком больного человека «...» (А человек, в скобках заметим мы, конечно же, символ человеческого общества. – В. М.)

Если вдуматься в это сравнение, то первое, на что мы обращаем внимание, это скрытое отождествление больного чела человека с “больным телом” природы, и только око, несущее в себе духовное начало, предчувствует иную жизнь, жизнь, соединённую не с землёй, а с небом. Это око и есть озеро. Следовательно, закон жизни “лесного озера” иной, чем закон жизни окружающей его “больной” природы, и этот закон – духовен по своей природе, которая жаждет исцеления. Последняя строфа стихотворения <...> даёт нам надежду на то, что зло, лежащее в глубине природы, может быть преодолено и исцелено. Потрясающая по своей силе и метафорической дерзости строка о животных, которые, “просунув сквозь ёлки рогатые лица”, склоняются к животворной воде, тоже показывает нам, что между озером и остальной природой – некая метафизическая преграда, которую нужно преодолеть. Эта преграда существует потому, что два пространства – пространство природы, коснеющей во зле, и пространство озера, соединяющего в себе Истину, Добро и Красоту, так отличаются друг от друга, что их разделяет частокол ёлок. Сквозь него нужно прорваться, преодолеть эту преграду».

Вспоминая стихотворение «Соловей» 1939 года (второе – и последнее из двух, написанных в неволе), а также первые стихи на вновь обретённой свободе – «Бетховен», «Гроза», «В этой роще берёзовой...» и другие, С. Кекова делает обобщающий вывод: «<...> неукротимый поток света льётся на читателя из самых разных стихов позднего Заболоцкого. <...> Произошло возвращение Заболоцкого к традиционной метафизике света, который преобразует, просветляет, оживляет материю. Поэтическая мысль Заболоцкого в стихотворении “Лесное озеро” близка богословскому пониманию Крещения. Крещение – новое рождение человека, рождение духовное. Природа, которая припадает к озеру, как к купели, тоже должна родиться заново».

Вот каким потаённым желанием жил Николай Алексеевич Заболоцкий во все свои годы неволи, вот что дало ему силы перенести испытания и исполнить обещание, данное жене в письме из тюрьмы, – «буду твёрд».

Продолжение следует.

